

ЧЕСТЬ



ОТВАГА

**Вадим
Прокофьев**

Но он отвлекся, а времени в обрез!
И снова Володя листает страницы па-
мяти. Теперь ясно — он должен убе-
жать в ближайшие полчаса, и убежать
из этого вагона. В Москве улизнуть не удастся. Не даст ох-
рана. Значит, убежать из поезда! И на ходу! Наверное, так
и бегали. Не может быть, чтобы никто не убегал...

**КОГДА
ЗАЦВЕТАЮТ
ПОДСНЕЖНИКИ**

МУЖЕСТВО

**ВАДИМ
ПРОКОФЬЕВ**

**КОГДА
ЗАЦВЕТАЮТ
ПОДСНЕЖ
НИКИ**

(Приключенческая повесть)

**ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЦК ВЛКСМ
«МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ»
1971 г.**

P2
Π80

От автора

Приключения? Неужели это только погони, перестрелки или борьба с морской стихией, необитаемые острова?..

А впрочем, это действительно так — и погони, и перестрелки, штормы и кораблекрушения, необитаемые острова, подвиги разведчиков, партизанские будни. И конечно же, революционное подполье.

Приключения можно выдумать. Так выдумать, что современники поверят каждому слову. Робинзон Крузо — гениальная выдумка, которая обошлась английскому адмиралтейству в тысячи фунтов стерлингов. Искали остров, искали Пятницу, и никто не герил, что это только фантазия.

Никто не поверил в подвиги барона Мюнхгаузена, но все читали, читают и будут читать с удовольствием о его похождениях.

Но бывает и так, что автор ничего не придумал. Он просто рассказал о людях и событиях. Рассказал только о том, что было. Такой рассказ обычно именуют документальным.

Мне давно хотелось написать не просто документальную повесть о большевиках-подпольщиках, «техниках» революции, но повесть именно приключенческую. Так появилась эта повесть о «техниках» большевистского подполья начальных лет XX столетия.

Но вот незадача — герои, которых автору хотелось вывести в повести, менее всего искали приключений. И даже наоборот — они очень заботились о том, чтобы приключений с ними случалось как можно меньше. Но они случались, и не по их вине. И тогда они проявляли отвагу, мужество, и свято оберегали честь партии, честь большевиков.

Однажды в архиве Октябрьской революции попало мне в руки письмо. Вернее, обрывок письма — у него не было ни начала, ни конца. Ну, думаю, найдена проверенная опытом сотен писателей завязка для приключенческой повести. Читатель, правда, может сказать: «Старо, знаем мы эти письма без начала и конца!..»

И все же я решил рискнуть.

Вот этот отрывок:

«...мне сообщили ваш адрес. Обрадовался неимоверно, и скорее за письмо. Сел, обмакнул в чернила перо... О чем же написать? Ведь столько лет минуло! О себе? Это потом. Меня, так же как и вас, Мирон, из тюрьмы освободила революция. Только я отбывал срок в Орле, а вы в Сибири.

Хочется чего-то задушевного. Может быть, просто воспоминаний о тех немногих днях, которые мы провели вместе. Вы удивлены? Вам кажется, что мы просто случайно сталкивались?

Нет, не случайно. Ведь я ваш крестник, я всегда хотел быть похожим на вас.

Но, дай бог памяти, с чего все это началось?..»

Я точно не уверен, что автор этого письма тот, о ком я думаю. Поэтому я не хочу называть его подлинное имя. Зато Мирон — это наверняка Василий Николаевич Соколов. Мирон — партийная кличка.

Соколов-Мирон прожил большую, интересную жизнь, стал заметным писателем, оставил великолепные воспоминания о своей революционной страде. Вот эти-то воспоминания и легли в основу моей повести. Я их немного изменил, немного добавил из других источников, а кое-что и домыслил.

Именно домыслил, а не выдумал. В повести я старался добросовестно держаться ближе к источникам, документам. Многие слова, большая часть прямой речи героев позаимствована из воспоминаний Соколова, Богомолова, Лепешинского и ряда других.

Так как там: «Но, дай бог памяти, с чего все это началось?»

Кажется, пора бы уже богатым россиянам привыкнуть к железным дорогам. Так нет же! Студенты, врачи и коммивояжеры, мелкие адвокатишки и даже крестьяне чувствуют себя в вагонах превосходно. А вот представители «сливок общества» все еще с опаской поглядывают на неуклюжий паровоз. Их тревожат и рельсы и колеса. Бог их знает, даже у экипажей ломаются оси... А ведь коляски едут по земле, да и лошади все же живые существа...

До отхода поезда от берлинского вокзала остаются считанные минуты. Пассажиры заняли свои места, облепили открытые окна. А Прозоровские, крупные помещики и домовладельцы из Виленской губернии, все еще лобызают своих возлюбленных чад — сына Владимира, студента Академии художеств, и дочь Зинаиду, гимназистку последнего класса.

Мадам Прозоровская настояла на том, чтобы от Женевы до Берлина дети ехали под родительским присмотром. Но в Берлине придется расстаться. Она должна хотя бы на день-два задержаться

в столице Германии — тут такие врачи!.. Ах, дети, дети! Она понимает, им нужно ехать, занятия уже начались. И все же, может быть, купить билет, пока еще не поздно? Баулы уложены, гостиница рядом. Володя такой заботливый сын, сам упаковал весь багаж, перетянул ремнями, пока она с мужем изучала рекламные объявления.

— Не дури, — зло шепнул супруге Прозоровский. — Не маленькие... Доберутся!

Пышноусый дежурный торжественно ударил в медный колокол. Это уже второй звонок к отправлению. Перрон загомонил. Последние напутствия, поцелуи, пожатия рук...

А вот и третий удар. В ушах Прозоровской он прозвучал, как погребальный колокол. Паровоз закричал, злобно выплюнул сгусток черного дыма, расправил белые усы...

Володя Прозоровский свесился из окна, замахал обеими руками. Его стащила на диван сестра. Но берлинский вокзал уже поглотил родителей.

Вагон первого класса. Двухместное купе, всюду бархат, плюш, пыль.

Владимир поудобнее устроился на диване, вытащил из кармана какую-то тонкую брошюру и сделал вид, что мир для него не существует.

Но он не читал. Он трусил.

Самым постыдным образом дрейфил, но пока еще пытался это скрыть от Зинаиды. Там, в Женеве, все казалось просто и, во всяком случае, так романтично! Студенческое кафе. Пикники в горах. Бесконечные пустые разговоры, во время которых нельзя молчать, иначе прослывешь бог знает кем. И бравада. Наверное, она в крови у интеллигентов. Правда, романы Купера,

Майн Рида, Войнич тоже кое-что значат. Но Овод не бравировал, и Кожаный Чулок тоже делал все тихо, спокойно, сам же оставался в тени. Стыдно: студент, а все еще живет какими-то детскими фантазиями!..

Перед отъездом из Женевы два латыша, фамилий они не назвали, попросили зайти в Берлине по одному адресу, дали пароль. Зашел. И вот теперь его трясет лихоманка. Конечно, он должен был отказаться... И не смог. Когда явился в гостиницу с увесистой пачкой, то, как вор, шмыгнул мимо портье. Слава богу, родителей и Зинаиды не было.

Запихнул всю литературу в огромный родительский баул. Его напрасно таскают, ни разу не раскрывали. Теплые вещи не понадобились. Часть жакетов и фуфаяк пришлось переложить в свой чемодан, свои вещи — к Зинке. В общем, перепакował весь багаж. Мать сначала удивилась, а потом даже растрогалась.

Если бы не Зинка, он знал бы, что делать. И пусть он будет жертвой... Но Зинка! Она ничего не знает. Может быть, сказать? Разревется, устроит истерику, а потом на первой же остановке сбежит давать телеграмму мамочке — с нее станет!

Володя устал от тревог и не заметил, как уснул. Проснулся оттого, что кто-то щупал ему лоб.

— Ты заболел?

Владимир узнал голос сестры. Успокоился.

— С чего ты взяла?

— А ты во сне разговаривал. Бормотал о том, что мама чего-то не знает... Ругал жандармов... И все время вспоминал про большой баул.

Началось! Владимир зло повернулся на другой бок, закрыл глаза. Но сон теперь уже не шел. А голова быстро распухла от беспокойных мыслей. «Проговорился

во сне! Не может быть! Никогда раньше не разговаривал. А что, если Зинка о чем-то пронюхала и теперь хитрит, наврала с три короба, авось клюну?»

— Володька, ты зачем в мой чемодан запихал мамину кофту?

— Отстань, я ничего не запихивал...

— Ну и врешь! Я еще вчера полезла, увидела твои вещи и эту кофту. Хотела ее положить обратно в большой баул, развязала его, а там...

— Что там?..

— Сам знаешь! И нечестно от меня скрывать. Думаешь, я не замечала твоих походов в Женеве? Все знаю. Знаю, что тебе в Берлине какие-то книжечки передали. Видела их в бауле...

Собственная сестра в роли шпика! Дожили, называется!

Зинаида зажгла свет, уткнулась носом в темное окно.

Обиделась? А может быть, ждет первой станции, чтобы дать в Берлин телеграмму?

Владимир притворился спящим.

Наверное, такая телеграмма была бы наилучшим выходом. И завтра он снова беспечно стоял бы у окна, курил, любовался видами, неторопливо ведя взрослые разговоры с попутчиками...

— Володька, — Зина говорила шепотом, — а у тебя с собой есть еще книги, такие же?

— Сказать, что есть, — неправда: у него всего пять-шесть брошюр и пара книг, но Зинка поймет тогда, что он испугался и малодушно подставил под удар родителей, пусть выкручиваются, а он ни при чем.

— Знаешь, у меня есть план...

— Какой план?

Зинаида соскочила с дивана, подседа на полку к Володе и зашептала. Она шептала долго, не давая брату перебивать, захлебываясь словами.

— Ну ладно, попробуем... Только чур, если что сорвется, ты ни телом, ни духом знать не знала, ведать не ведала. Согласна?

Она согласилась.

Из Костромы нужно удирать. Раз уж попал на мушку полиции, она в покое не оставит. Что и говорить, вывод малоутешительный.

Соколов даже расстроился.

Куда удирать-то? Здесь, в родных местах, его, неудачливого домашнего учителя, пригнали в земском статистическом бюро. Здесь он начинал свою жизнь революционера. Вернее, только-только начал. И вот нужно, что называется, задавать лататы.

За пределами Костромы он бывал редко. Конечно, кое-кого знает, но смогут ли эти знакомые помочь с работой, устройством в чужих местах?

Эх, если бы ему только померещилось, что за ним следят! А может быть, никто и не следит? Ведь по справедливости, эка персона! Да стоит ли он филерского жалованья?

Вспомнились наставления Буяныча, рабочего, высланного за пропаганду из Питера: «Если опасаясь, что за тобой увязался «хвост», выберись из города в поле. Там «подметке» прятаться негде. Если умный, то отстанет, а дурак — все одно попрутся за тобой. Тогда улучи момент, обернись и шагай навстречу. Разгляди хорошенько. А при случае наложи и по шеям...»

Совет, конечно, лихой, но попробовать можно. И что-

что, а «наложить по шеям» — бог силой не обидел. Ну, а если попадется умный? Тогда считай, что совершил загородную прогулку, воздухом подышал. Да, не весело, и все же искушение велико.

Посмеиваясь над собой, Соколов бродит с таинственным видом по городу. Заскочил к двум-трем знакомым. Потом с оглядкой вышел на окраину, туда, где уже поднялись зеленые стебли ржи.

Полям шел недолго. Оглянулся — никого. А вдруг и правда померещилось? Хорошо бы. Но вернее, попался филер не дурак. Вот это уже скверно!

Соколов присел на бугорок, задумался. Он никак не мог понять: если все же привязался «хвост», то почему именно к нему? Ведь в Костроме живут люди куда более «опасные». Тот же Полетаев или Александров. Но за ними не следят, сам проверял. Может быть, жандармы его с кем-то спутали?

Как, однако, плохо, что никто в Костроме толком не занимался изучением повадок полиции и жандармов! Вот у народовольцев этим специально ведал Александр Михайлов, «Дворник», и инструктировал товарищей. А у них все тот же Буянов. Требуем конспиративности. А что это за штука такая, и сам знает только понаслышке. «Изучай, — говорит, — проходные дворы, не храни дома нелегальщину, не появляйся на улице со свертками». И все в том же духе.

Что же касается литературы, то в Костроме рабочему не только нелегальную, а просто порядочную книгу достать событие...

Ну, а если пойти на хитрость?

Соколов еще раз оглянулся, потом торопливо полез в карманы и стал вытаскивать из них всевозможный бумажный хлам. Сложил в кучку, поджег. Потом, слов-

но испугавшись, быстро затоптал костерчик и торопливо пошел к лесу.

Если за ним все же следят, то это сейчас выяснится!

Не доходя до леса, Соколов метнулся в кусты и упал на землю. Полежал минуту, прислушался. Тишина. Поднял голову — перед глазами качаются стебли ромашек, и ветер еле слышно посвистывает среди трав. Зелень мешает разглядеть тропинку и только что покинутое поле ржи. Нужно приподняться, но не хочется вставать. Так хорошо слушать ветер и травы!

Соколов старается обмануть себя. Ему не хочется увидеть шпика, разгребающего пепел костра...

Соколов встал, раздвинул кусты. Чуть волнуется зеленая рожь. Нет ни филера, ни просто прохожих, и заливисто стрекочут кузнечики...

И все же нужно, хотя бы на время уехать из Костромы. Сабанеев из Пскова прислал приглашение в местную статистику.

Уже час они торчат на пограничной станции. Русские таможенники и жандармы осматривают пассажиров второго и третьего класса. У тех, кто едет первым, только бегло проверили документы.

Но почему они не осмотрели как следует чемоданы? Или это сделают потом, при посадке на русский экспресс?

Володя нервничает. Конечно, они с Зиной «не внушают подозрений». Такие молодые, чистенькие, ухоженные... Не то что длинногровые студенты, подсевшие в поезд где-то у самой границы. Их вещи не только осматривают — перетрясают каждую, вспарывают подклад-

ку, заставляют снимать сапоги. Какого-то господина, уже немолодого, отвели в сторону и оставили под охраной жандарма. Володя не находит себе места. Они придумали такой славный ход. На таможне в их чемоданах находят несколько запрещенных изданий. Зинаида ревет и проговаривается, что их родители едут следом, а теперь они им на глаза не покажутся... Их задерживают, это само собой разумеется. Приезжают родители. Отец наверняка закатит скандал и тем самым убедит жандармов в своей лояльности. Папа — генерал в отставке, его вещи просто постесняются осматривать. Конечно, дома тоже будет не сладко, но это неважно — на днях он все равно едет в Петербург...

План еще этой ночью казался таким хитроумным!..

Жандарм приглашает пассажиров переходить в русский состав, услужливо подтаскивает чемоданы. Ему помогают таможенники и какие-то верткие молодые люди.

Нужно идти! Зинаида решительно подхватывает свой чемоданчик, поравнявшись со стойкой, за которой торчит таможенник, раскрывает.

Таможенник делает протестующий жест.

Володя резким броском ставит свой чемодан на стойку — от удара замок щелкает. Крышка отскакивает. На пол высыпается пара книг, три брошюры, брюки, фуфайки, рубашки. Таможенник торопливо выскакивает из-за стойки.

— Не беспокойтесь... Сейчас подберу, у нас тут чисто...

Ловкие руки аккуратно уложили рубашки, брюки. Чиновник быстро собрал книги и стал размещать их в чемодане.

— Одну минуту, молодой человек, — прозвучал за спиной голос — грубый, с повелительными интонациями.

«Ну, вот и все», — теперь Володю уже колотило в нервном ознобе. Он забыл и свое имя, и фамилию, и куда едет.

— Я вас спрашиваю, чьи это книги. Ваши?

— Мои-с!

И это униженное «с» тоже выскочило со страха.

Что он наделал, что наделал! Увидел, что их хитроумный план попросту не пригодился, значит, надо было тихонько поставить чемодан. Таможенник не стал бы досматривать. А он грохнул!.. Опять бравада! От страха, конечно. Теперь задержат. А когда приедут родители, кто знает, хоть они и первым классом прибудут, но... Что он наделал!

— Почему вы молчите? Я спрашиваю, кто дал вам эту мерзость и куда, кому вы ее везете?

Владимиру вдруг все стало безразлично. Он уже не дрожал. Не все ли равно! Теперь для него закрыта дорога в Вильно, в Петербург, академию. Тюрьма, ссылка, а может быть, и каторга.

— Ну, что ты не отвечаешь?.. Володя! — Зина плакала рядом, а он и не заметил, как она снова очутилась в таможенном зале.

Дура, сама же придумала этот идиотский план, а теперь ревет! А он тоже хорош: принял бабскую выдумку за иезуитскую хитрость. Да и перед сестрой покрасовался — мол, иду на жертву ради идеи, свободы! А сам ни одной брошюры так и не успел прочесть. Какие там идеи проповедуются, понятия не имеет. Он всего-навсего почтальон, а не борец, не герой. И мученического ореола тоже не будет...

Но тут Володя вспомнил, что литературу должен

передать по адресу в Вильно, и вновь ощутил приступ страха. Так вот почему этот жандарм так допытывается, кому передать! Он знает, что такой груз везут из-за границы не для того, чтобы потом поставить его у себя в книжном шкафу. Значит, не просто тюрьма. Он слышал о том, что тех, кто молчит, пытаются...

— Ну что ж, молодые люди, придется вас задержать и препроводить. Кстати, как вы изволили себя величать — Прозоровский? Уж не Константина ли Егорыча сынок?

Володя кивнул головой. Жандармский офицер только руками развел.

— Как же, как же, знаю вашего батюшку, действительный статский советник, всеми уважаемый человек и... такой пассаж! Вот что значит без родительского присмотра пускать детей за границу...

— Неправда, папа и мама были с нами, они завтра или через два дня тоже здесь... — Зину душили слезы, и она разревелась уже по-настоящему.

— А вот и отлично, вот и славно... Вы подождете родителей здесь, под нашим присмотром. Веретенкин, проводи!

Жандарм подхватил Зинин чемодан. Кивнул Володе на дверь.

Маленькая каморка, две железные койки, грязные одеяла. В дверях щелкнул замок.

Зинаида завывала в голос.

— Ну чего реवेशь? Ведь все идет по твоему плану!

— Ду-у-рак!

— Ну, а теперь рассказывайте! — Лепешинский удобнее пристроился в кресле, закинул ногу за ногу.

Соколов пожал плечами. О чем ему, собственно,

рассказывать? Ведь у него, кроме четверти века жизни, нет никаких особых заслуг. Даже элементарного опыта, который необходим всякому, кто желает стать революционером, у него нет. Ну, пропагандировал среди костромских ткачей — не бог весть что! Агитировал и в колонии малолетних преступников, где три года прожил воспитателем. Вот, пожалуй, и все.

Образованием он тоже блеснуть не может. Конечно, кое-что прочел. Но читал сумбурно, все, что доставал: Милль и Прудон, Маркс и Плеханов, Бокль, Спенсер. И, чего греха таить, часто не понимал прочитанного. Учился хорошо и даже учительскую семинарию окончил одним из первых, но в роли домашнего учителя и воспитателя провалился с треском — не умел держать вилку и разговаривать по-французски.

Пантелеймон Николаевич Лепешинский тем временем внимательно разглядывал Соколова. В свои двадцать пять лет мужчина видный. Не очень высок, плотно сбит, наверное, и силенка имеется. Умное лицо, а в глазах черти пляшут. Такие лица хорошо запоминают филеры. Правда, в Пскове полицейские нравы очень патриархальные. Если ты по первому разу изгнан из Петербурга под надзор полиции, то почти наверняка попадешь в Псков.

Здесь таких изгнанников хоть пруд пруди, не город, а какая-то «поднадзорная свалка». Охранки в Пскове нет. Местные же жандармы на все махнули рукой — разве уследишь, когда поднадзорных сотни. К тому же Псков не Москва и не Питер. Здесь нет пролетариата, готового к забастовкам и стачкам. В Пскове промышленности-то — один свечной не то заводик, не то мастерская. Какие уж тут стачки! Отданным на попечение полиции только и остается, что говорильней раз-

влекаться. Но тут уж филеры не помогут, их в дома не пускают.

— Ну, что же вы молчите?

— Да как-то неожиданно все... «Говорите»!.. А о чем, собственно?

Лепешинский отметил, что его собеседник не так прост, как может показаться с первого взгляда. Действительно, о чем ему говорить с едва знакомым человеком? Конечно, за Соколовым наверняка числятся «противоправительственные деяния». И надо думать, деяния сии достаточно громкие, иначе Соколов из Костромы не сбежал бы. Но тем меньше у него оснований рассказывать о своем прошлом первому встречному.

А с другой стороны, хочется этого человека приобщить к «искровской вере». Но как, как? Ведь Лепешинский тоже не имеет права сообщить Соколову, что Владимир Ильич Ульянов сам наметил Псков одним из пунктов, куда будет стекаться вся нелегальная литература, откуда по России будет расходиться пролетарская газета «Искра». Лепешинский — агент этой газеты, но об этом знают немногие.

И все же в конце концов разговорились. Уж и вечер затемнил окна, ужин остыл, а им не хочется прерывать разговор. Лепешинский убедился, что его собеседник напорист, умен, наблюдателен. Очень ехиден и за словом в карман не лезет. Но сколько еще всякой шелухи у него в голове! Вот что значит провинциальный самоучка!

Пантелеймон Николаевич старался «вправить мозги» этому приглянувшемуся человеку. И кое в чем преуспел.

Поздно ночью договорились, что Соколов возьмет на себя «технику». То есть будет добывать бланки пас-

портов для нелегалов, получать, перепаковывать, а иногда и развозить в разные города литературу. Да мало ли еще какие обязанности лягут на плечи заведующего транспортно-техническим бюро. Должность-то какая громкая!

Соколов был доволен. Вот это настоящее дело!

У Василия Николаевича дел по горло. В Псков зачистили подпольщики. И всем требуются новые виды на жительство. Те, кто собирается осесть в России, нуждаются в «железках», то есть в подлинных документах. Липы, фальшивки для них не годятся.

Соколову приходится изощряться. Главное — приобрести чистые бланки. Он покупает их у не очень-то щепетильных чиновников мещанской управы.

Василий Николаевич не имел привычки спрашивать прибывающих товарищей об их подлинных именах, с него было достаточно и пароля. В паспорт вписывал имя человека, действительно существовавшего, но никак не затронутого подозрениями полиции.

И вскоре у Соколова появилось немало крестников — Носков, Щеколдин и другие. Паспорта у них были «железные».

Зато с транспортом литературы хлопот не оберешься.

Это был какой-то кошмар. Отец изрыгал проклятия, угрожал запереть дома, даже выпороть на конюшне! Маман ломала руки и без конца твердила: «Мы опозорены, мы опозорены!..»

В конце концов жандармам и таможенникам все надоело. Они и не рады были, что затеяли этот «педагогический эксперимент» с домостроевскими выводами.

Провинившихся чад отпустили, но пригрозили: чуть что — и тогда ни мама, ни папа...

Щедрые чаевые сделали чиновников любезными. Баулов, конечно, никто не досматривал.

Итак, что бы там ни было, а, можно считать, их хитрость удалась. Хотя Володя понимал, что и без этого спектакля родительские баулы не стали бы ворошить.

...Через несколько часов Вильно, и Владимира уже гложут иные тревоги. Сегодня же, ну в крайнем случае завтра утром, он должен избавиться от этой проклятой поклажи. Сжечь, утопить, выбросить, наконец, куда-либо на свалку, но только так, чтобы родители и не пронюхали. Об адресе, пароле он и не вспоминал. Двое суток взаперти, знакомство с жандармами... Нет уж, увольте, он, может быть, и романтик, но в ином, ином жанре!

Романтика! Она почему-то выглядит для Владимира бестелесной, но необыкновенно красивой. В ней что-то ускользающее, немного грустное и... черт ее знает что еще! Во всяком случае, от его романтики не пахнет смазными жандармскими сапожищами и клопами... Ему и сейчас кажется, что они ползают по телу.

Ну, вот и дома... Отец сразу же заперся в кабинете. Маман слегла. Мигрень. Охи, вздохи, Зинка бродит по комнатам как ни в чем не бывало — вот ведь бесчувственная! А вообще молодец! Володя же чувствует себя нашкодившим первоклассником, которого поставили в угол и пригрозили розгами.

Дворник втащил чемоданы, баулы, корзины. Сейчас придет горничная, начнет разбирать... Ну и пусть разбирает. Она дура. Наверное, и читать-то умеет только по складам. Лишь бы отец не вылез из кабинета... А маман слегла по крайней мере до ужина.

— Володька, ты что, забыл?

— Отстань!

— Маша на кухне, у нас повариха больна. Давай развязывай, а я постерегу.

Опять Зинка права. Пока горничная хлопочет над кастрюлями, ей не до чемоданов. А когда сядут за стол, кто знает, что взбредет в голову прислуге?

Владимир нервничает, дергает ремни, руки слушаются плохо... Слава богу, он все запихал в один баул!

Ну, кажется, обошлось. В мезонине есть укромное место, до завтра туда никто не заглянет...

Обедали молча, едва притрагиваясь к еде. Так же молча разошлись по своим комнатам. После обеда горничная взялась за багаж...

Володя с облегчением захлопнул балконную дверь. Он еще сегодня должен найти место, куда завтра чуть свет сплавит эту нелегальщину и забудет о ней.

В саду по-осеннему тихо-тихо. Только иногда сорвется с ветки умерший лист и долго кружит в воздухе, словно ему не хочется падать на холодную землю. Когда-то в детстве сад казался большим, таинственным, со множеством укромных уголков.

А вот теперь он их не находит. А что, если встать ночью и выкопать в саду яму? Нет, не годится. Садовник живет у них столько лет, сколько Володя себя помнит... Как бы тщательно он ни засыпал яму, этот молчаливый литовец сразу обнаружит и, конечно, доложит барину. И на помойку нельзя. Вот бы сжечь! Но как? Печи в комнатах еще не топят. На кухне? Ну, это глупости...

Зло хлопнув калиткой, Володя выходит на улицу.

А что ему делать на улице? Не потащит же он этот

тук к реке, чтобы утопить? Или за город — разложить костер...

— Володя!

Владимир в испуге оборачивается. Господи, он не узнал Зинкиного голоса.

— Что ты будешь делать с тюком?

— Отвяжись!

— Думаешь, я не видела, как ты облазил весь сад, потом грохнул калиткой? Твои брошюры и газеты нужно снести тем, кому их адресовали. Давай я пойду!

— С ума сошла!..

— Ну куда, куда ты их денешь? А потом, это нечестно. Вот уж не думала, что ты такой трус!

— Тоже героиня! А как два дня ревела, помнишь?

— Володька, сколько тебе лет? Не понимаю. Ты всегда витал где-то в облаках. Ах, закат! Ах, симфония красок! Ах, ах! Ваятель! А вот у нас в гимназии нашли листовки, и девчонки никого не выдали...

— Уж не ты ли их принесла?

— Дурак!

Володя посмотрел на сестру с удивлением, словно впервые ее видел. Она моложе его на два года. Когда на ней гимназическая форма — так, ни то, ни се. Но в платье, в белых туфельках на каблучках Зинка выглядит барышней на выданье. Как она выросла за год, который они провели врозь! О чем она думает, к чему стремится? Володя теперь этого не знает.

А раньше они всегда мечтали вдвоем. Но за границей встречались только за столом, и то не часто. И не поговорили. Обоим было некогда.

— Ну, решайся! Давай адрес и кого нужно спросить...

Владимир боялся поднять на сестру глаза. Стыдно.

Стыдно потому, что он сразу же подумал: вот действительно возможность избавиться от литературы. Зинаида сходит на явку. Оттуда пришлют кого-нибудь, кто заберет нелегалыщину.

— Да не трусь, говори! И отправляйся домой, а то родители хватятся. Ведь они договорились приглядывать за тобой. А я вне подозрений.

— Аптеку Фишера знаешь?

— Конечно.

— Спросишь у аптекаря сто горчичников. Он ответит: «Зачем вам так много?» Ты должна сказать: «Ну, давайте дюжину». Поняла?

— «Аптека Фишера. Сто горчичников. Давайте дюжину...» Так? Я побежала.

— Да погоди ты! Расскажешь все, что с нами произошло. Пусть завтра, так часов в десять, когда отец, как обычно, пойдет гулять, зайдут в сад. Только чтобы садовник не заметил. Я вынесу...

— Понятно, понятно. Иди домой!.. Нет, постой. Ну, кто-то там зайдет в сад... А как ты узнаешь, что это от них?

— Пусть сами придумают как.

— Ладно. Иди домой!

Как все оказалось буднично, просто! Зина нашла Фишера. Договорились, что ровно в десять в сад зайдет старьевщик с мешком. Ему Володя и отдаст тюк. Нужно только придать ему вид старых, рваных газет или лучше какой-либо связки поношенного тряпья.

Володя ждал, что явится этакий изнуренный, сгорбленный мужчина с бородой, нечесаный — старьевщики все такие. А пришел совсем мальчишка. Курчавый, в косоворотке и начищенных сапогах. Спокойно взял тюк,

который Володя тщательно обмотал тряпками, задрапировал старыми брюками. Положил в мешок. Улыбнулся...

И какой сегодня чудесный день! Словно не осень, а разгар лета. Зинка куда-то упорхнула с подругами. Отец все еще не разговаривает. Но, видно, уже отходит. Остается маман. Она смотрит с укоризной. Иногда кажется, вот-вот заплачет.

Ничего. Он знает мать. Завтра она будет трещать без умолку и ругать отца за то, что тот молчит и дуется.

А все же с ним, с Володей Прозоровским, случилось такое! Есть о чем рассказать закадычным друзьям в академии.

Невыспавшийся, голодный бродит Василий Николаевич по улицам. Еще очень рано. Закрыты трактиры и чайные. Конечно, можно было бы посидеть на вокзале. Но вокзалы всегда находятся под наблюдением полиции, лучше не искушать судьбу.

На явочной квартире, наверное, еще спят. Соколов уже дважды прошел мимо нужного ему дома. В первый раз просто не поверил, что явка разместилась в таком шикарном особняке. Но номер дома совпадает, и фамилия хозяина, выгравированная на медной доске, — тоже.

Наконец девять часов. Можно позвонить у парадного.

Открыла миловидная девушка в опрятном фартуке, с наколкой. «Горничная», — догадался Соколов и почему-то сконфузился. Отправляясь в Вильно, он специально надел сапоги, кепку и старое пальто. Наверное, этот маскарад был лишним. Теперь же он мнется в передней.

— Будьте как дома, товарищ!

«Товарищ» — это слово действует магически. Василий Николаевич проходит в гостиную. Великолепная мебель красного дерева, окна затянуты тяжелыми шторами, на полу ковер, уютно потрескивает огонь в камине.

Горничная оделась и куда-то ушла. Видимо, предупредить комитетчиков о его приезде.

В доме не слышно ни звука. Соколов утонул в мягких подушках дивана. Бессонная ночь повисла на веках. Окружающие предметы стали расплываться, и он уснул.

Сколько он продремал, трудно сказать. Проснулся от какого-то шороха. Никого. И снова в глазах тускнеет комната. Но он уже не спит. Это ведь не сон?..

Из-за кресла выглядывает человеческое личико, маленькое, с кулачок, и странное-престранное. Соколов чувствует, как у него на затылке шевелятся волосы... Тут не до сна!

Соколов встал с дивана. Из-за кресла выскочила крохотная обезьянка и уселась на камине.

Василий Николаевич стоял в растерянности. Куда все же занесла его нелегкая? Обезьяна, эта роскошь — и «товарищ»... Черт знает, кому ты здесь товарищ — хозяевам или их обезьяне?

Хлопнула парадная дверь. В гостиную вошла высокая женщина. Она, видно, бывала здесь уже не раз. Обезьяна с камина перемахнула на ее плечо. Женщина рассмеялась. Ее смех предназначался обезьяне, но Соколову показалось, что женщина смеется над ним, над его нелепой позой.

— Здравствуйте, Мирон!

Василий Николаевич пожал руку. Мирон? Она знает

его кличку? А он еще не успел к ней привыкнуть. Наверное, Лепешинский предупредил о его приезде.

Женщина откинула с головы платок. И снова Соколову пришлось удивляться. Женщина, которой он только что жал руку, стала просто неузнаваемой. Что-то необычное появилось в ее лице.

— Простите, не знаю, как вас зовут. И не сердитесь, но я должен вас предупредить — не снимайте платок на улице и в присутственных местах...

— Почему?

Соколов подвел женщину к зеркалу. Та посмотрела и быстро накинула платок.

— Спасибо, я давно не смотрелась в зеркало...

— С краской нужно обращаться осторожно. Брови растут медленно, поэтому на них ничего не заметишь, черные и черные. А вот волосы у вас наполовину черные, сверху, а у основания белые-белые...

Женщина рассмеялась:

— Ну, нашему брату это не так страшно. Если и заметят, подумают: кокетка-неряха. Случись же такое с вами, не миновать участка. Но еще раз спасибо. Сегодня же подкрашусь. Моя белесая голова слишком выделяется.

Она резко оборвала смех. И тогда Мирон понял — молодая женщина совершенно седая!

Между тем связная сообщила, что человек, который принесет литературу, предупрежден и сейчас придет.

— Перепаковываться будете здесь. Хозяева уехали, горничная своя. А пока отдыхайте.

Она ушла. Соколов снова уселся на диван. Но сна уже не было. Горничная тоже куда-то вышла. Обезьяна, не обращая больше внимания на гостя, снова взобралась на камин и стала приводить себя в порядок.

Прошел час. Но вот у подъезда позвонили. Горничная открыла. До Соколова долетели обрывки фраз. «Пароль, наверное», — подумал он.

В гостиную как-то боком не вошел, а втиснулся невысокий, очень молодой человек, чуть ли не парнишка, но на удивление полный. Поздоровался, извинился и исчез в соседней комнате. Василий Николаевич не заметил у него ни корзины, ни саквояжа. Нет, похоже, это не транспортер. Наверное, какой-нибудь знакомый горничной.

Минут через пятнадцать из той комнаты, куда удался толстый парнишка, вышел худой бледный юноша. Пиджак на нем висел, как накидка, брюки спадали двумя неуклюжими мешками.

Положительно этот дом полон неожиданностей! Соколов узнал юношу. Но куда девалась его толщина?

Юноша улыбнулся.

— Свои жиры я оставил в той комнате, забирайте!

Мирон узнал, что здешние транспортеры предпочитают небольшие партии газет перевозить на себе. Они обматывают газетами руки, ноги, туловище. Потом перевязывают тонкой бечевкой. Конечно, в такой упаковке довольно неудобно передвигаться, но зато меньше риска, чем с корзинами или саквояжами. А книжки кладут за пазуху.

— Ох уж эти корзинки! Однажды я вез одну от границы в Гродно. Извозчик попался бестия из бестий, принял меня за контрабандиста и всю дорогу шантажировал. Выцыганил все деньги, кроме одной золотой пятерки. Но и ту пришлось сунуть в лапу таможенника. И вот я с корзиной ночью стою на набережной, и хоть вой... В корзине пуда три, я ее поднять не могу. Денег нанять извозчика ни копейки. Пробовал корзину ка-

тить — но так докатишься до первого городского. И знаете, меня выручило обилие карманов. Я стал их методично вывертывать. И вдруг из одного вылетела монета, зазвенела на мостовой. Я, наверное, минут двадцать шарил рукой по камням, но нашел. К счастью, это оказался пятиалтынный...

Соколов укладывает экземпляры «Искры» и книги в саквояж. Нужно поспеть в Новгород.

Завтра снова в дорогу. Володя и так опоздал на целую неделю. Но это не страшно.

А как хочется снова в Петербург, на Васильевский остров! Осенняя столица необыкновенно красива, если, конечно, не идет дождь. И снова лекции, студия. В этом году он решил серьезно заняться гравюрой. Ему нравятся ее стилизованные, штрихованные контуры и какая-то лубочность, что ли.

Но это через несколько дней. А сегодня день визитов. Нужно навестить родственников, со всеми попрощаться.

К родственникам он успеет, а вот с Лизой они договорились увидеться пораньше утром. Ее родители уехали в свое имение, дома только горничная.

Лиза мечтает тоже попасть в Петербург и стать курсисткой. Хорошо бы! Они снова были бы вместе.

Володя едва дождался одиннадцати часов. Лиза обещала после первых уроков удрать из гимназии.

Вот и ее дом. Володя потянулся к ручке звонка, но не позвонил. Дверь открылась, и он нос к носу столкнулся... со старьевщиком! Только курчавый юноша был теперь без мешка и одет не в косоворотку, а в какой-то нелепый костюм. Пиджак чуть ли не до колен, и в него можно завернуть еще двоих таких же юнцов.

«Старьевщик» сначала удивленно отпрянул, смутился. Неуклюже подтянул брюки и быстро зашагал прочь. Он тоже узнал Володю. Горничная, стоявшая за спиной юноши, тихо вскрикнула и исчезла.

Володя вошел в дом. Навстречу выпорхнула Лиза.

— Заходи, заходи... Дома никого, а гости нашей горничной сейчас уйдут.

«Гости? — подумал Володя. — Значит, их много?»

В гостиной какой-то кряжистый мужчина застегивал саквояж. Он мельком взглянул на Володю и не то поклонился, здороваясь, не то попрощался. Наверное, попрощался, так как через минуту его уже не стало.

— Ну что ты стоишь, словно увидел привидение! Это родственники Сони. Тот, что помоложе, бывал у нее несколько раз, а вот этот какой-то странный, он, видно, впервые в приличных домах и до ужаса напугал Мими...

Володя ничего не ответил. Лиза, конечно, не догадывается, что в отсутствие ее родителей их дом служит явкой для подпольщиков! «Родственники!» Сказать ей? Может быть, и нужно сказать правду.

Но только Володя открыл рот, как вспомнил — ведь в саквояже, наверное, унесли литературу, которую он привез из-за границы...

Нет, лучше уж он помолчит. Сегодня ему меньше всего хочется расстраивать Лизу.

Неаккуратно получилось. И как это он не заметил, что в доме барышня, а не одна горничная! Этот кавалер, конечно, из «благородных». Наверное, студент или вольный художник — волосы длинные, и одет небрежно. И он не поверил в «родственников». А почему, собственно?

Мирон не стал искать разгадок. В Пскове нужно предупредить, что эта аристократическая явка ненадежна, хотя он почему-то уверен, что на сей раз все обошлось благополучно.

Когда-то «молодший брат» Великого Новгорода, Псков ныне стал чем-то вроде дальнего пригорода Петербурга и посему окончательно захирел.

Владимир Прозоровский вот уже второй день бродит по городу и никак не может настроиться на тот немного торжественный лад, который уместен, когда встречаешься с живыми памятниками древности.

После студенческих беспорядков в Петербурге его выслали в этот город. Да еще и под надзор полиции. Оказывается, тот жандарм на границе не для красного словца припугнул — донесение о попытке провезти литературу студентом Академии художеств пришло в столицу, в департамент полиции, и на В. Прозоровского была заведена папка. Он сам ее видел. Тощая папочка. Теперь в ней прибавилось документов.

Сидели в «Крестах» человек по двадцать в одной камере, пели песни и жестоко спорили. Только в тюрьме Володя понял, что он почти ничего не знает о революционном движении в России, его лидерах, течениях, распрах, идейной борьбе.

Было стыдно. Хотелось слушать и слушать, набираться ума-разума. И он слушал. Но многого не понимал. Его пытались втянуть в споры. Он отмалчивался. И на него махнули рукой, и это тоже было обидно.

Все «понимающие» и «непонимающие» получили повину — высылку. Только некоторых просто выслали на родину, и не под надзор полицейских, а под родитель-

ское наблюдение. А его и еще нескольких — сюда, в Псков. Три раза в неделю он должен являться в участок, отмечаться. Унизительная процедура! А как были удивлены его соседи по камере, когда узнали, что за этим художником-тихоней, маминым сыном, уже числится провоз литературы.

Домой он еще не писал, но Зинаиде записку с товарищем переправил — она поймет. Да и поостеречься ей тоже не грех. А вот Лиза поймет ли?

Володя гонит мрачные мысли. Квартиру он себе подыскал, деньги пока имеются. Но нужно работать. За этот год он очень преуспел в гравюре. Что ж, и в Пскове можно достать подходящее дерево или линолеум — инструменты у него есть.

И все же теперь он уже не тот Володя-романтик. Ведь не даром русские революционеры величают тюрьмы университетами. И для него «Кресты» были университетом. Наверное, теперь он уже не сможет жить только ради искусства, не сможет стоять в стороне, когда улицы полны демонстрантов с красными флагами. Но ему еще нужно решить, с кем он. Ведь он даже не мог ответить на вопрос жандармского следователя, какую литературу провозил год назад через границу.

Городские заборы, тумбы расцвели афишами: «В зале городского театра состоится спектакль «Контрабандисты». Сочинение г-на Суворина».

Местная интеллигенция, армия поднадзорных переполошились. Как же, газеты уже давно донесли весть о скандалах, которые сопровождали постановку этого спектакля на подмостках различных русских городов. Пьеса явно провокационная, с антисемитским душком.

Володя поначалу не собирался идти в театр — ему претили такие постановки. Но незадолго до премьеры к нему заскочил знакомый студент, рассказал, что местная интеллигенция собирается освистать спектакль и вообще будет заваруха. Оставил билет и свисток.

Теперь, если он не пойдет, все сочтут за труса, отвернутся. А с другой стороны, если впрямь начнется заваруха? Ведь он «поднадзорный». Вяжется в скандал — не миновать участка. И уж псковская полиция не упустит случая избавиться хотя бы от еще одного «беспокойного элемента». Отправят по этапу куда-нибудь к черту на рога...

Плохо то, что Володе не с кем посоветоваться. Ведь он далеко не уверен, что скандал в театре — тоже проявление революционности. Разве мало освистали постановок? Что ж, каждый такой театральный эксцесс прикажете считать антиправительственной демонстрацией?

Трудные размышления были прерваны неожиданным стуком.

— Володя, Володя, вы спите? К вам барышня пожаловала!

Барышня? Володя торопливо натягивает мундир прямо на нижнюю рубашку, кое-как закрывает кровать одеялом. Но не успевает причесаться. Дверь распахивается без стука.

— Зинка!

Да, это была сестра. Она и смеется, и предательски трет глаза. Но как хорошо, как легко и радостно сразу стало на душе!

— Зинка, чертушка, да каким ты духом очутилась здесь?

— Уж конечно, не тем, каким ты! Ты что, забыл?

Ведь у нас каникулы. Вот я и отпросилась у маман в деревню к подруге. А сама сюда...

— Ну, ты у меня просто героиня. Жанна д'Арк!..

— Не говори глупостей! Я приехала не ради твоих комплиментов. Хочу тебя предупредить...

Зинаида вдруг замолчала. Тихо подошла к двери, внезапно распахнула. Никого.

— У нас в Вильно такие события, такие события! Весь город только и говорит об арестах. Так вот, имей в виду — арестовали твоего старьевщика! Не делай большие глаза. Думаешь, я не подсмотрела, как ты клал ему в мешок литературу?

— Подожди, подожди, а ты откуда знаешь, что его арестовали?

— Знаю. Ведь со мной вместе учится дочь нашего жандармского начальника. У нее умерла мама, и Верка дома за хозяйку. Отец ей доверяет убирать даже свой кабинет. А потом, она часто слышит, о чем он разговаривает со своими чинами.

— Да, но почему ты решила, что арестован именно старьевщик? Ведь ни ты, ни я, ни твоя Верка — мы не знаем ни его имени, ни его клички...

— А вот и врешь. Верка сама слыхала, как отец говорил: «Старьевщика» сегодня возьмут в поезде...»

— Ты что же, все рассказала этой Верке? Ты с ума сошла!

Зина обиделась. За кого он ее принимает? Хотя Вера и настоящая подруга, к тому же она очень переживает, что ее отец жандарм, но Зина никому ни слова не говорила. Верка сама рассказывала и охала: вот ведь до чего дошло — старьевщики помогают революционерам!

— Я последнее время часто хожу к Вере делать уро-

ки, а сама присматриваюсь, прислушиваюсь. О тебе ведь, дураке, пекусь!

Володя не знал, смеяться ему или как следует отругать сестру. Как она напоминает того желторотого птенца, которым он сам был еще год назад! Но откуда у девчонки такая смелость и такая заинтересованность? Казалось, все должно быть наоборот. Дочь состоятельных, чиновных родителей. Окончит гимназию, затем какой-либо институт, выйдет замуж — помещица, генеральша.

Зина словно угадала, о чем думает брат. Как-то очень тихо, но убежденно произнесла:

— В России родились и Софья Перовская и Фигнер...

Нет, Володя не вспомнил сейчас этих имен. Он был далек от сравнений. А вот напомнить этой якобинке о судьбе Перовской, пожалуй, будет уместно.

Целый день брат и сестра ругались, спорили. Забываясь, повышали голос, потом испуганно умолкали.

В конце концов Володя выяснил, что Зинаиде действительно удалось выведать у подруги кое-какие очень отрывочные сведения. Причем Зину интересовал только Псков. Она даже сочинила целую романтическую историю: якобы в Женеве познакомилась с одним технологом, потом переписывалась. А вот теперь его выслали в Псков. История, конечно, была шита белыми нитками, но Вера только ахала и усердно искала среди стцовских бумаг упоминания о Пскове. Увы!..

— Только один раз была интересная бумага, в ней упоминались Вильно и Псков. Вера дала мне ее даже списать, и я сказала, что в бумаге есть фамилия человека, которого вспоминал мой технолог...

Зина вытащила листок, вырванный из ученической

тетради. Аккуратным почерком гимназистки, всегда имевшей по чистописанию хорошие отметки, было написано:

«После ликвидации в декабре минувшего года в Спб. и Вильно... главных тогда руководителей подпольного революционного сообщества «Искры» деятельность названной организации на время приостановилась; но уже в конце февраля текущего года совершенно агентурным путем были получены сведения, что оставшиеся на свободе члены вновь пытаются организовать и восстановить прерванные ликвидацией связи как в Спб., так и во многих других центральных пунктах империи. Согласно этим указаниям, главными организаторами вновь формирующейся группы явились: некий «Аркадий», он же «брат директора», путешествующий по империи в качестве уполномоченного от заграничного комитета группы «Искры», и постоянно проживающий в Пскове статистик местной земской управы отст. губ. сек. Пантелеймон Николаевич Лепешинский, уже отбывший наказание в Вост. Сибири по делам организации Союза борьбы за осв. раб. класса в 1895 г. В отношении последнего имелись определенные указания, что он заведует транспортировкой подпольных изданий «Искры».

Лепешинский — такую фамилию Володя слышал здесь, в Пскове. Что касается «брата директора», конечно, это кличка, которую знают только те, кому положено знать. Но если охранка добралась до Пскова, если шпики знают о Лепешинском, значит его со дня на день могут арестовать. Нужно предупредить. Убедить скрывается...

Но Володя не знает Лепешинского в лицо, не знает, где он живет, где работает. А расспрашивать... И все

же придется спросить у знакомых студентов. Они все знают.

— Зина, подожди меня здесь и никуда не выходи! И дай, пожалуйста, твой листок.

— Володя, что ты задумал? Если этот листок найдут у тебя...

— Ладно, не нужно листка. Я скоро вернусь.

Володя отсутствовал часа два. А Зинаида спала. Как она ни боролась с дремотой, сон одолел.

Володя не стал будить сестру. Он вернулся дебошный, хотя и встревоженный. Из осторожных расспросов «высланных» он узнал, что действительно Лепешинский живет в Пскове, работает в местной статистике.

Но если сейчас прямо пойти к нему, то можно и навредить. В последнее время псковские жандармы проявляют активность. В город наехали опытные шпики из какого-то «летучего отряда». Друзья посоветовали завтра невзначай встретиться с Лепешинским в театре. Это никому не бросится в глаза. Интересно, откуда они знают, что завтра Лепешинский обязательно будет на спектакле? И почему догадались, что Володе нужно с ним встретиться?

Видимо, беседуя с приятелями, он проговорился. Значит, конспиратор он никудышный. А ведь когда вел разговор, ему казалось, что его вопросы — верх тонкости, остроумия... Зазнайка!

Володя лишний раз убедился в том, что в делах нелегальных первый порыв, необдуманное действие могут привести к очень печальным результатам. Но теперь пути к отступлению отрезаны. Завтра он пойдет в театр. Завтра, если ничего не случится, ему покажут Лепешинского, и он расскажет ему о доносе охраны.

Приняв такое решение, Володя вдруг вспомнил

о сестре. Пока она спит, он выучит наизусть донос и сожжет эту бумагу. Зина в театр не пойдет. Ведь там ожидается скандал, а с ее характером... Мало ли что эта взбалмошная барышня может натворить.

У подъезда театра давка. Городовые охрипли. Контролеры еле сдерживают публику. Но даже им неизвестно число безбилетников, проникших в театр.

Володя буквально прорвался в зал. Зал!.. Конюшня, казарма, но только не театральный зал.

Десяток рядов стульев. А за ними галерка. Володя привык к тому, что галерка — это третий или четвертый ярус. В Пскове ярусов нет, нет ни бельэтажа, ни даже амфитеатра.

И только перед спектаклем в фойе оборудовали гардероб.

У Володи место стоячее.

Но вот потух свет и поднялся занавес. Зрители мгновенно затихли. Какой-то тщедушный актеришка двинулся к рампе — видно, пьеса начиналась с монолога.

Он даже успел что-то произнести. Володя не слышал. Откуда-то из задних рядов раздался разбойничий посвист, затопали десятки ног.

— Пожар!.. Горим!.. Ратуйте, православные!..

Что тут поднялось! Женщины визжат, мужчины ругаются!..

Перекрывая этот шум, кто-то взывает:

— Граждане, внимание!.. Одну минуту внимания!

Володя обернулся на голос. В этот момент его дернул за рукав знакомый студент.

— Свисти, черт тебя раздери! А тот, что говорит, и есть Лепешинский!

Лепешинский! Бородатый, могучий, а рядом с ним какой-то коренастый мужчина отбивается от городских. Блюстителю висят у него на руках, пытаюсь лишить этого богатыря «свободы передвижения и свободы действия». Ага, с ним не так-то просто справиться!

Только теперь Володя заметил, что в зале полно полицейских и молодцов в штатском. Их принадлежность к сословию шпигов не вызывает сомнения.

Забыв обо всем, Володя ринулся в гущу дерущихся. Вот уже кто-то съездил его по уху, кого-то и он зацепил кулаком...

По сцене бегает актеры. Кричат. С примадонной обморок.

Около рампы стоит дородная дама из купчих и отвечает увесистые оплеухи полицейскому унтеру. Блюститель щупленький и никак не может вырвать свой воротник из цепких лап разгневанной фурии.

Зрители обернулись спинами к сцене. И только те, кто стоял за стульями, уже никуда не могли оборачиваться.

Володя успел заметить, что из-под Лепешинского выбили стул. Городовые заломилк ему руки...

Володя рванулся на помощь.

Спины, локти... И неожиданно знакомое лицо. Губы прилипли к свистку, щеки надуты, как у полкового трубача. Кто это?

И внезапное прозрение — «родственник» горничной!

Володе съездили еще раз в ухо. Взвизгнув, он ринулся головой вперед!

Расталкивая зрителей, с зычными криками «посторонись!» дюжие городовые тащат под руки Лепешинского к выходу. «Родственник» уже не в силах стряхнуть с себя двух прилипших к нему молодцов.

Володя все еще свистит, все еще работает локтями, кулаками.

— Господин студент! — Чья-то тяжелая рука ухватила за плечо.

Володя вырвался. Мундир остался на «поле боя»...

В окно тихонько постучали. Соколов посмотрел на Лепешинского. Пантелеймон Николаевич пожал плечами. Опасаться полиции или жандармов не приходилось — ведь их только что отпустили из участка после составления протокола.

Лепешинский открыл. В комнату вошел молодой человек.

Вид у него был совершенно истерзанный. Пальто накинуто на рубашку, нос распух. Юноша тихо прикрыл за собой дверь; но постеснялся подойти к столу. Лепешинскому пришлось насильно усадить его.

— Простите, что так... среди ночи... У вас в окне свет, я на минутку... я не мог не прийти. Вы ведь Лепешинский, да? Не спрашивайте, как я узнал, это неважно... но я знаю, что жандармам известна ваша роль в деле «Искры»...

Володя говорил сбивчиво, но донесение запомнил слово в слово.

Соколов заволновался. Пантелеймону Николаевичу угрожает арест. А тут еще глупейшая драка в театре. Видно, и этот молодой человек участвовал в ней.

Володя подтвердил. Только теперь Василий Николаевич как следует разглядел его. Какое знакомое лицо!

— А ведь мы где-то встречались с вами. Может быть, здесь?

— Нет, мы встретились всего один раз. Я знаю, вы

увозили тогда литературу. Помните, в этом доме была еще обезьяна...

Напомнил, а самому стало как-то грустно. Наверное, поэтому и не заметил, как «родственник» насторожился.

А Соколов действительно был неприятно поражен. Этот неизвестно откуда взявшийся юнец слишком много знает. Не провокация ли?

Василий Николаевич внимательно оглядел Володю, словно в его внешнем облике можно было найти ответ.

И Володя понял: ему не верят. Слишком много совпадений. А ведь эти люди все время живут под неусыпным надзором полиции. Лепешинский уже был в Сибири, в ссылке. Они вправе относиться подозрительно ко всякому. Но разве он похож на провокатора? Какая глупость!

— Вы не думайте, я не шпик. Меня самого исключили из Академии художеств и выслали сюда под надзор. А что вы увозили тогда нелегальную литературу и газеты, я знаю потому, что сам их привез из-за границы...

Володя, торопясь, глотая слова, рассказал о своих одиссеях. Когда он дошел до приезда в Псков сестры, вспомнил: Зина одна, ждет его, беспокоится, а может быть, там уже полиция — ведь вместе с мундиром в руки блюстителей попал и его паспорт! Он сумел затеряться в давке, даже пальто с вешалки ему выдали, — удивительно, номерок оказался в кармане брюк. Потом он долго мерз около участка, куда увели Лепешинского. Их отпустили ночью, и он теперь, уже как настоящий филер, следил, куда пошел Лепешинский, стоял под его окном, не решаясь постучать.

Володя рассказал и о своих опасениях насчет сестры.

— Так что ж вы, батенька, в самом деле? Нет, нет,

постойте. Вам самому идти не следует. Скажите адрес, хотя и темно, авось найду. И не обессудьте, сестру вашу немедленно отвезу на вокзал... и домой! Честное слово, если бы я сам не был свидетелем всего случившегося, ей-ей, не поверил бы. Вашей сестре еще рано заниматься такими вещами. Она это делает из озорства, а может искалечить себе всю жизнь.

Соколов был не на шутку рассержен. И на себя тоже. Оказывается, его могли преспокойно проследить. И на будущее наука — не доверять явкам в барских квартирах.

Соколов ушел. Лепешинский и Володя с тревогой ожидали его возвращения. Пантелеймон Николаевич нервничал еще и потому, что донос жандармов, который так фантастически стал известен, не оставлял сомнений — ему недолго гулять на свободе. И, что хуже, если его еще не арестовали, то только потому, что следят, хотя выловить всех, кто с ним связан. А ведь именно в Пскове должны собраться представители различных течений социал-демократов, чтобы создать новый организационный комитет по созыву съезда партии.

Не так давно из Петербурга прибыли два филера, которые, не таясь, следят за ним, даже раскланиваются. Хорошо, что хоть по ночам эти стражи спят и студента прозевали. Видно, придется этого еще, по существу, мальчика куда-то переправить. Да не мешкая, завтра же.

Соколов вернулся, когда уже начало светать.

— Занимательная у вас сестра, но в голове полный ералаш. Я посадил ее на ночной поезд до Петербурга. Других поездов не было. И как это мамаша отпустила ее одну? Вы же сами рассказывали, что она боялась отпускать сестру даже под вашим присмотром.

— Попробуй не отпусти — убежит!.. А потом, она ведь к подруге в деревню уехала. Мама еще не знает, что я исключен и выслан.

Лепешинский поделился своими опасениями. Соколов согласился с тем, что Владимира нужно снабдить каким-либо документом, лучше паспортом, и переправить в другой город.

Соколов и Володя ушли: оставаться днем у Лепешинского было небезопасно.

Явочная квартира, где Василий Николаевич хранил чистые бланки паспортов, и вообще всю технику, находилась на окраине города, в небольшом домике железнодорожного мастера. Идти туда вместе с Володей нельзя, да и Соколов сам очень редко сюда заходил, обычно встречался с мастером на вокзале.

Оставив Володю на улице, Василий Николаевич вошел в дом. Мастер спал после ночного дежурства. Соколов не стал его будить. Забравшись на чердак, он достал из тайника паспортный бланк. Теперь его нужно заполнить. Но где? Все же придется идти к себе домой. Там он может быстро сфабриковать печать из пятака. И Володю нужно переодеть, в одной рубашке он ехать не может.

Дома все было спокойно. Пока Володя умывался, чистился, Василий Николаевич заполнил паспорт. Теперь его владелец носил фамилию Трегубов. Это была настоящая фамилия, она принадлежала телеграфисту, недавно скончавшемуся от туберкулеза в Великих Луках. Копию этого паспорта привез агент «Искры» Радченко, тот самый «брат директора», о котором упоминалось в жандармском донесении.

Соколов ловко расписался и стал облепливать хлеб-

ным мякишем пятак, чтобы оттиснулся один орел, без надписи по ободку.

Володя с интересом следил за манипуляциями Соколова.

— Простите, вы хотите поставить на паспорт такую печать? Но ведь печати, собственно, не будет, один орел.

— Достаточно и орла, кто станет присматриваться?

— А у вас не найдется настоящей печати? Я имею в виду — оттиска?

— У меня на паспорте настоящая печать.

— Тогда разрешите отрезать маленький кусочек линолеума. Он на полу все равно потерялся, и совершенно не будет заметно.

— Сделайте одолжение...

Соколов не понял, зачем Володе понадобился линолеум. А Володя взял паспорт Василия Николаевича, лист бумаги и очень быстро перерисовал печать. Затем, отрезав кусок зеленого линолеума, перевел рисунок на его гладкую поверхность. Перочинный ножик у него всегда с собой в брюках...

Не прошло и часа, как Володя выгравировал на линолеуме печать с буквами в обратную сторону. Вместо Костромы, которая была на печати Соколова, написал Великие Луки. Смазали матрицу чернилами, приложили.

— Великолепно! Послушайте, Володя, у вас же прекрасная подпольная специальность! Уж раз мы вам доверились, то скажу — мы не одни, в России много подпольных социал-демократических комитетов, я уверяю вас — каждому требуются липовые паспорта с печатями. Бланк достать не так трудно, чиновники, ими ведающие, не щепетильны, продают по рублю, трешке, иногда и до-

роже. А вот с печатями дело хуже, мы больше пятаками орудуем...

— Так позвольте, я вам нарежу сколько угодно.

— Рад бы, Володенька, воспользоваться вашим предложением, но вам нужно уезжать. Не знаю, найдете ли вы свою дорогу в революцию, не испугают ли вас тяготы нелегальной жизни, вечная нехватка денег, полуголодное существование. Каждый шаг — с оглядкой. И тюрьмы и ссылки — этого тоже не миновать. Хочу верить, что вы будете с нами, с искровцами. Но вам нужно многому научиться и многое забыть, отвыкнуть от того, чем вы жили в прошлом. Может быть, вам посчастливится завершить образование — рабочему классу нужны и свои художники. Но если вы действительно хотите стать революционером, то прежде всего должны сказать себе: «Дело рабочего класса — это дело всей моей жизни».

Соколов никогда не любил красивых слов и высокопарных речей. Но, напутствуя Володю, он разволновался и сам. Ведь то, что он внушал этому юноше, было им выстрадано, и у него не было наставников. Хотя, если Володе еще нужно приобщиться к революционной вере, то и ему, Соколову, еще предстоит многое узнать, изведать, научиться.

Василий Николаевич резко оборвал свою речь. Снабдив Владимира своим старым пиджаком, деньгами и паролем на явку в Минске, Соколов отпустил «новообращенного».

Трудно ему придется, ой как трудно! И наверное, они никогда больше не встретятся, если Володя вернется к старому образу жизни, учебе. Ну, а если он станет социал-демократом, если он будет помогать партии, то, может быть, их жизненные пути и сойдутся. Как знать!

Богомолову все окончательно надоело. И больше всего — охотничье бродяжничество по экзотическим местам. Вряд ли кто-нибудь может бросить ему упрек в недостатке решимости. Скорее наоборот. С детства пристрастился к охоте, с детства любил побродить в местах, куда, как ему тогда казалось, не ступала нога человека.

Когда же подрос, действительно потянуло в неведомые дали. Так очутился в Америке, на Аляске. А там не до охоты было. Скорее всего за ним охотились, особенно всевозможные бродяги. Потом, правда, оставили в покое, убедившись, что из револьвера и винтовки он промаха не дает.

Теперь перебрался сюда, на Дальний Восток, и бродит по Уссурийскому краю. Глушь, красотища небывалая, но страшновато. Селения одно от другого за сотни верст. Русских поселенцев и вовсе не сыщешь, они ближе к городам жмутся. А с китайцами как-то не поладил. Они приняли его за бандита, что ли. Чуть не убили. Пришлось отстреливаться — поверх голов, конечно.

Теперь вот сидит он в охотничьей заброшенной фанзе. Ночь наполнена звуками, шорохами. Иногда где-то откровенно зевает дикая кошка. А может быть, и его величество тигр. Тигров убивать не приходилось, да он и не жаждет встречи с ними.

Спать хочется, но боязно. Проводник из корейцев ушел с вечера, сказал, что селение близко, к ночи вернется, и до сих пор нет его. Заснешь — костер или ветром задует, тут с моря он буйный, или дождем зальет. Чего-чего, а дождичков в этом краю хоть отбавляй.

Хочется домой. А в Астрахани сейчас утро. Съезжаются на базар армяне, персы, киргизы. Гомон заполняет площадь.

Чего только нет в рядах!.. Осетры, помидоры, арбузы...

Как давно он не ел эти деликатесы, привычные с детства!

Сейчас очутиться бы на Обжорной косе или в Красном яру. Жарко. Сухо. И кругом белая-белая пыль...

А тут дождь. Сыро, и в болотах нестерпимо громко не квакают, а просто лают, как дворовые псы, лягушки.

Почему вспомнилась Астрахань? Почему не Царицын, Самара? А мало ли есть на Руси прекрасных теплых городов. Он побывал во многих.

Его бродяжничество — это просто каприз молодости. Пора заняться делом. В России назревают грандиозные события. Это он понял уже несколько лет назад. И с тех пор его тревожит мысль, что он может остаться в стороне от этих событий.

Давно не держал в руках книги, газеты и, наверное, забыл уже все, что когда-то прочел, что его волновало. Писарев волновал, Чернышевский. Он ведь и Маркса пробовал читать, но не дочитал — трудно.

Богомолова сморил сон, но, прежде чем заснуть, он уже твердо решил — возвращаться. И как можно скорее.

Поезд уже давно окунулся в ночь, и только блеклые квадратики света из окон бегут, подскакивают, переламываются на буграх, вытягиваются, ныряя в овражки, а Соколов не может оторваться от окна.

С Псковом все покончено. Лепешинский в тюрьме, а может быть, его уже и вывезли в сибирские тундры. Арестовали в ночь на 4 ноября 1902 года. И Соколова арестовали, только несколько позже и по другому делу.

Полиция, видимо, так и не узнала, что Мирон ведал транспортом литературы и всей техникой псковских искровцев. Его привлекли в связи с разгромом Северного рабочего союза. Значит, нужно переходить на нелегальное положение.

Пока сидел под арестом, в Лондоне состоялся II съезд РСДРП, произошел раскол. Еще в тюрьме Соколов твердо решил — он на стороне большевиков.

Оказывается, в ЦК знают Мирона. Теперь он едет в Смоленск заведовать транспортно-техническим бюро Северного района.

Опыт у него есть. Служба будет. Опять-таки в местной статистике.

И задание ЦК он выполнит непременно.

— Извозчик! Эй, извозчик! Да шевелись ты!..

Видавшая виды пролетка, облупленная, скрипучая, подкатила к грузовому отделению смоленского вокзала.

Извозчик не торопится. Ему не хочется слезать с козел. У этого господина в плечах косая сажень. И чего он так возится с небольшим ящиком? Извозчик знает: в таких фрукты присылают с Кавказа. И мастеровые в таких же носят свои инструменты. Ящик напоминает гробик с ручкой.

— Да помоги же, черт косолапый!..

Извозчик сплюнул, сполз с облучка, подошел к ящичку, небрежно схватил его за ручку и...

— Пресвятая богородица!.. — от удивления ванька даже присел. — Никак в нем пуда три?

— Ладно, не болтай! — Мужчина поднатужился и втащил ящик в пролетку. — На Потемкинскую... Дом Романовых, да поскорее!

Застоявшаяся лошадь резко взяла с места. Седок едва успел подхватить ящик и чуть не вылетел вместе с ним на мостовую.

Смоленск! Говорят, что город этот старше Москвы и ровесник Киева. И так же, как и «мать городов русских», раскинулся на днепровских холмах. Василий Соколов холмы не считал, но город ему понравился.

Правда, Днепр в Смоленске ни то ни се — одно название. Если бы здесь побывал Гоголь, то вряд ли написал бы, что «не всякая птица долетит до противоположного берега». В Смоленске даже курица спокойно совершит

такой перелет. Хотя курица не птица. Ладно, шут с ним, с Днепром. Зато собор хорош. Очень хорош. И крепостная стена тоже. В шестнадцатом веке ее построили. А на горе, в самом центре, роскошный парк — Блонье. Смоленские старожилы рассказывают, что его насадили в одну ночь. Что-то вроде «потемкинских деревень» — сажали прямо столетними липами, чтобы поразить матушку императрицу Екатерину II, завернувшую в Смоленск.

Может быть, все это и враки, но парк действительно столетний. И если дождь внезапно застанет невдалеке от Блонье, вернее всего забежать под липы.

Лошадь заметно сбавила ход и уже с трудом тащила пролетку на гору. Миновали Кирочную, через Молоховские ворота выехали к Сосновскому саду — и прямо на Потемкинскую.

Дверь открыла хозяйка. Она удивленно посмотрела на извозчика, с кряхтением и проклятиями тащившего небольшой ящик. Что-то сказала Соколову. Он не слышал, и обиженная дама уплыла к себе.

— Прибавь, барин, за поклажу: небось в ней чистое золото...

— Ладно, вот еще двугривенный... Золото!..

Оставшись один в комнате, Василий Николаевич устало опустил на стул. Только теперь он почувствовал напряжение этих двух последних часов. И только теперь понял, что сделал великую глупость, если не сказать больше. Сам поехал на вокзал!.. А ну как ящик на станции проследили? Наверняка железнодорожники должны были удивиться его необыкновенному весу. А в ящике типографский шрифт. И он предназначен для типографии, отнюдь не зарегистрированной у губернатора.

Конспиратор называется! Пока тащился на извозчике, ни разу назад не поглядел! Теперь не удивительно, если нагрянут архангелы...

На улице зацокали копыта. Соколов вздрогнул, но заставил себя остаться сидеть на стуле. И только когда звуки затихли, подошел к окну.

На улице пусто. Дома стоят словно небольшие помещичьи усадьбы. У каждого дома — свой сад. Многие имеют каретные сараи, конюшни. На Потемкинской живет солидный интеллигент, чиновник средней руки. Мещане и ремесленники таких улиц не любят.

Соколов всего несколько дней назад приехал в Смоленск. И так же, как и в Пскове, устроился в статистическом бюро. В бюро ему и указали на Потемкинскую как самое подходящее место для жительства. В доме Романовых хозяева стараются выглядеть утонченными интеллигентами. Во всяком случае, Василию Николаевичу так показалось при первой беседе.

На улице пусто. Но это еще ничего не значит. Жандармы редко приходят с обыском вечером. И может быть, сейчас, когда он стоит у окна, к дверям его дома прикованы две-три пары настороженных глаз. Соколов готов поверить в то, что чувствует ошупывающие взгляды филеров. Резко задернул штору. Хватит испытывать нервы! Они и так стали пошаливать. Лучше всего лечь спать. Ведь до завтра все равно из дома не выбраться. Будь что будет, теперь уж ничего не исправишь. А выспаться необходимо.

Не так часто ему приходится выспаться.

Ночью Соколову не снились жандармы. Не снилась и типография. Ничего не приснилось ему в эту ночь.

Архангелы тоже не прилетели. Утром все казалось

проще. А яркое осеннее солнце разогнало вчерашние страхи.

Соколов поспешил на службу.

Евграф Калитин торопился домой. К ночи небо затянуло тучами. Порывистый ветер швыряет в лицо пригоршни пыли, сухие листья. Вот-вот польет дождь.

Когда случается возвращаться поздно вечером или ночью, Евграф предпочитает идти по улицам, в обход стены. Засветло можно свернуть и к пролому, перевалить через невысокий холм у Чертова рва, и тогда, считай, дома.

Ноги гудят, сапоги словно свинцом подшиты. Да и голова от этого ветра разболелась. Набегался за день. Побывал на двух квартирах, куда обычно приходят письма для Мирона. И не напрасно: есть письмо Соколову. Затем зашел в железнодорожные мастерские, договорился с помощником машиниста Колькой, что тот свезет по адресу тюк литературы. Отчаянный парень этот Николай, возит нелегальщину в вагонных ящиках для песка. Но ни разу еще не провалился.

Даже в лавку успел, жена сахар просила купить. Эх, вспомнил о сахаре, и захотелось чаю, горячего, пахучего, из шумящего самовара. Леший с ним, он пойдет проломом, через Офицерские слободы.

Дурной славой пользовались в Смоленске Офицерские и Солдатские слободы. На улицах темень, грязь. Дома один от другого на десятки саженей отстоят. И тут вечно пошаливают всякие любители легкой наживы. Чуть ли не каждую неделю по городу разносятся слухи, что в Офицерских опять раздели, обобрали и напугали.

Дождь наконец хлынул. И сразу сильный. Калитин прибавил шагу. Идти стало трудно, скользко. Около пролома к тому же валяется масса битых кирпичей. Когда подошел к стенке, вдруг сквозь шелест дождя услышал голоса, обрывки фразы:

— Тащи сюда...

— Обождем?

Калитин остановился. Их там минимум двое. А он очень устал... Благоразумнее будет свернуть, пока не поздно. Евграф хотел уже тихонько ретироваться, когда в проломе появился свет.

Калитин невольно вздрогнул и закрыл глаза. В проломе две человеческие тени тащили светящийся скелет!..

— Сунем его вот сюда. Дождь бы не испортил...

Евграф бросился бежать. По кирпичам, не разбирая дороги. Падал, натыкался на деревья, тумбы...

Ноги сами принесли к дому. Наташа, его жена, женщина суровая, властная, никогда не видала мужа в таком подавленном состоянии. Он как-то странно поглядывал в темные углы комнаты.

Наташа не стала расспрашивать. Она давно знала, что ее муж партийный транспортер, что на каждом шагу его стерегут опасности. И сегодня с ним что-то стряслось... Ничего, отойдет — сам расскажет. А сейчас не надо его трогать.

Пока Евграф судорожно глотал обжигающий чай, Наташа растопила на кухне плиту, развесила мокрое пальто, брюки, пиджак.

Осенняя ночь стучалась в ставни ветром и россыпью дождя. Пора бы и спать. Но Евграф медлил и все время к чему-то прислушивался. Наверное, ему померещилось, что садовая калитка хлопнула... Просто хулиганит ветер.

Но Калитин подошел к двери. Приложил ухо. Нет, показалось...

И в это время в дверь постучали. Два сильных удара кулаком и один легкий пальцами. Полиция так не стучит.

Но Евграф не открывал.

Снова раздался условный стук. Калитин скинул крючок, резко толкнул дверь. В сени вошел Мирон. Он напоминал ожившего утопленника, только что выбравшегося из воды. Тяжело грохнулись на пол две пачки, завернутые в бумагу.

Мирон прохрипел:

— Пальто... сними пальто...

Евграф никак не мог расстегнуть пуговицу. Рванул, пуговица отлетела. Пальто было такое тяжелое, что Калитин с трудом поднял его к крючку вешалки.

Соколов стоял не двигаясь. У него на шее болтался какой-то нелепый черный хомут.

— Да стащи же!..

Легко сказать — стащи, если хомут весит не менее шестидесяти фунтов.

Наконец и он сброшен на пол. Василий Николаевич, совершенно обессиленный, садится тут же рядом со своими доспехами.

Евграф забыл об усталости, встрече со скелетом. Он хлопочет вокруг Мирона. Помогает стянуть сапоги, растирает затекшую шею. Ведет к столу. Самовар еще горячий.

И только согревшись чаем, Соколов заговорил.

— Скверно все получилось. Привез я вчера домой ящик с типографским шрифтом. Не следовало этого делать... Но выхода не было. Слава богу, не проследили. И сегодня я спокойно ушел на службу. Возвращаюсь

вечером, а на моем столе две литеры и шпация. Этак аккуратненько положены на самом видном месте. Ясно, хозяйка убиралась, нашла на полу... Осмотрел ящик, а в нем щели — палец просунуть можно. Что делать? Хозяйка, может быть, и не донесет. А там кто ее знает... Надеяться, что не догадалась, не приходится, баба умная. Нужно спасти шрифт да и самому не засиживаться. А на дворе уже ночь, дождь... Да это так, к слову... Главное — как унести шрифт? Ящик-то худой, и в нем не меньше трех пудов. Вот я и сделал этот хомут из старых брюк. Завязал внизу штанины и в каждую фунтов по тридцать шрифта всыпал. В карманы пальто тоже. А те вон пачки, похожие на книги, тоже шрифт. Как шел, не помню... Шагов сорок-пятьдесят пройду, сажусь прямо в грязь, посижу, отдышусь, и опять ползу. Последний раз уселся на какие-то бревна, а встать не могу...

Соколов умолк так же внезапно, как и заговорил. Евграф вспомнил о своем бегстве. Нет, он о нем никому не расскажет. Стыдно! Да и был ли скелет? Может, все ему померещилось?

— Сегодня получил для тебя письмо... — Калитин ощупал карман, вспомнил, что его одежда сушится. Бросился на кухню.

У жаркой плиты ветхое пальто почти просохло. Из кармана торчал конверт. Вытащил. Письмо побывало в воде, конверт съежился, чернила расплылись.

— Я сегодня тоже основательно вымок и письмо подмочил, не обессудь...

Наташа, сидевшая все время молча, вдруг неожиданно заговорила:

— Носит вас черт лукавый! Ну, Василь Николаевич ясно, по такому делу... А ты где изгваздался, да еще и

рукав порвал? Домой ввалился — лица нет, словно мертвецы за тобой гнались!

Евграф вздрогнул. Вот чертова баба!..

— А мертвецы и гнались... — Евграф довольно путано рассказал о встрече со светящимся скелетом. Наташа только охала и тихонько крестилась под теплым платком, накинутым на плечи.

Соколов неожиданно расхохотался:

— А что, Евграф, когда я постучал, ты, поди, решил — скелет пришел за твоей грешной душой?

— Тебе хорошо смеяться...

— Ловко придумали, шельмецы! Слыхал я об этих фокусах. Ты вон какой мужик здоровенный, и то про святых угодников вспомнил да стрекача задал. А ежели на твоём месте мадам какая-нибудь или офицерша? Обморок! Карманы обчищены. Никакого насилия. А рассказывать стыдно. Ведь стыдно? Ты-то утаил от Наташи про скелет...

Соколов снова рассмеялся.

Калитин чувствовал себя неважно. Мирон прав — конечно, струхнул. Ну погоди, он этих негодяев подстережет, забудут о скелете, свои бы кости унести...

— Слушай, а почему он светится?

— Дай-ка письмо!

Мирон разорвал конверт. Влага испортила текст, написанный фиолетовыми чернилами. Они расплылись причудливыми озерцами, и понять можно было только, что «у племянницы все благополучно», поклоны шлет. Подпись хоть и не расплылась, но ее не разобрать.

Соколов и не пытался прочесть смытые строки. Придвинув к себе керосиновую лампу, он осторожно стал нагревать письмо над стеклом.

— Говоришь, почему скелет светился? А вон глянь сюда — была чистая бумага, а теперь?

Между расплывшимися фиолетовыми строками появился ряд букв.

— Твой скелет натерли чем-нибудь, вот он и светится в темноте. А эти буквы написаны или молоком, или двууглекислым свинцом. Нагреешь — они и проступают наружу. Вот и весь фокус.

Через минуту короткая депеша была расшифрована: «Приезжаю среду Глебов».

Мирон сжег письмо, отошел к окну. Дождь кончился, но ветер противно подвывал сквозь щели неплотно закрытых ставней.

— Наташа, если не прогонишь, эту ночь я у вас, а завтра найду новую квартиру. Тебе, Евграф, завтра с утра бежать к Голубкову. Передашь, что в среду придет Глебов, надо встретить и проследить, не привез ли он за собой «хвост». Если чисто, то свези его на квартиру к Лебедеву. И я приду туда. А вообще, Евграф, не нравится мне это письмо. Глебов-то представитель ЦК, о его приезде письмом не сообщают, да и шифр устарел. Как бы тут какой жандармской мышеловки не оказалось.

Не спалось.

То ли с непривычки на новом месте, а может быть, не улеглось еще возбуждение от пережитого.

Соколов давно заметил за собой не то чтобы страсти, а так, скорее привычку пофилософствовать. Про себя, конечно. Днем для душевноразмышлений просто времени нет. А вот ночами... Не часто, но иногда и выдается часок-другой, когда не спится, когда Мирон, партийный транспортер и заведующий транспортно-техническим бюро ЦК РСДРП в городе Смоленске, снова становится просто Василием Соколовым. И просто

человеком, у которого нет жены, дома и которому скоро уже тридцать. Если бы в такие минуты кто-нибудь очень-очень близкий спросил о личной жизни, то он не знал бы, что и ответить.

Хотя ведь и у него было детство. Тяжелое, голодное, озорное. Там, в далекой отсюда Костроме, и по сей день стоит казарма городской пожарной команды. Отец, отставной николаевский солдат, служил на пожарном дворе, но почему-то величал себя «унцер корпуса жандармов». Отца он видел мало, а вот его голубой мундир с серебряными галунами мать любила надевать на святки, когда по улицам ряженные ходили.

От этих воспоминаний не веет теплом. Может быть, потому, что на ночь никто не рассказывал ему сказок, зато по ночам мать часто плакала и в который раз жаловалась на то, как барин порвал ей ухо, а потом отдал на костромскую ткацкую фабрику. Ее, сонную, в цех носили на руках взрослые.

Школа была счастьем, щелочкой в какой-то иной мир. И он учился, опережая свой класс. Теперь он знает, с каким нетерпением учащиеся ждут каникул. А тогда не мог понять этих «больших ожиданий». Не ждали каникул и многие его однокашники. Каникулы — это Волга. Каникулы — это тяжелый труд. Катали лес — и из глаз сыпались искры. Прибыла баржа с горчичным семенем — каждую минуту сменяются те, кто лопатой подгребает семя к брезентовому рукаву. Горчичное семя разъедает глаза, забивается в ноздри, и невозможно удержаться, чтобы не чихать... Нет, летние каникулы вспоминаются как время неимоверной усталости, когда не хватало сил даже на то, чтобы забраться в соседский огород.

Были и зимние вакации. И жили в Костроме его одно-

летки, для которых расчищали каток, и для них играл духовой оркестр.

А он сушил баржи. Огромные лодки еще осенью поднимали на клети вверх днищами. В трескучие морозные ночи под днищами разводили костры. Двугривенный за ночь. Чтобы его заработать, нужно было все время таскать дрова, приходилось лежать на брюхе, уткнувшись носом в талый лед, чтобы не задохнуться в едком дыму.

— Мирон, спишь?

— Что, Евграф, скелет приснился?

— Да нет... Давно хотел спросить тебя, что такое «революционная романтика»?

Революционная романтика!

Интересно, где это Евграф о ней прослышал? Соколов почувствовал досаду, то ли потому, что Евграф оторвал его от воспоминаний, а может быть, и потому, что сам не знает, как ответить на этот вопрос. Ну вот, к примеру, он сам — романтик или не романтик? Черт его знает! С точки зрения здравого смысла романтика — это как-то несерьезно. Наверное, потом, когда уже годы подойдут к возрасту мемуаров и он, дай бог, останется в живых, воспоминания о делах молодости подернутся романтическим флером. Наверное!

И вообще он не против романтики, если она идет рука об руку с верой, с убеждением.

— Мирон, заснул?

— Да нет, думаю. О романтике думаю...

— А я так понимаю, у рабочего человека, того, что в стачках и забастовках участвует, никакой такой романтики нет. Какая уж тут романтика, когда казаки нагайками лупят, хозяева с работы взащей гонят, а дома дети. Нет, Мирон, рабочему не до романтики. Это интеллигент-

ты придумали. Вроде павлиньего хвоста — толку мало, зато красотища!

— Торопиться, Евграф, с выводами! Конечно, многие рабочие, революционные рабочие, даже слова такого — «романтика» — не слышали. А на деле они подлинные романтики. И революционность у них не павлиний хвост, а дело всей жизни. Они и на каторгу и на смерть идут. И верят, что в конце концов победят.

Евграф тяжело вздохнул. Нет, не убедил его Соколов.

Новую квартиру из трех небольших комнат в мезонине Соколов нашел скоро. Внизу проживал какой-то замученный, задерганный на службе и дома пехотный капитан. В доме правят женщины, и особенно назойливы своими «милыми манерами» свояченицы хозяина. Они не замужем и в том возрасте, когда исчезают последние надежды. Одиноким постоялец, еще не старый, — это ли не находка, не шанс! И от своячениц нет покоя...

Комнаты прибрать!.. Пожалуйте на чай... Может быть, их милый жилец по вечерам скучает в одиночестве, милости просим к нам — лото, карты, да и в фантики можно порезвиться.

Василий Николаевич уже и не рад, что вселился в этот женский заповедник. Одно удобно — улица неприметная и у него из мезонина отдельный ход. Хозяйки «культурой не страдают», вернее — просто невежественные дуры. Но это к лучшему. То, что их постояльцу раз два в неделю привозят корзины книг «на комиссию», даже имеет для них свою выгоду — хозяйка получает в виде презента новенькую корзинку, свояченицы с каждой «выгодной сделки» — коробку конфет. Хозяин же так угнетен, что ему не до подарков.

Сегодня «комиссионная операция» неожиданно затянулась. И не на час, не на два... Наверное, он завершит ее через сутки, а то и более. В корзине «Искра». И какая досада — в пути корзина сначала подмокла, потом ее прихватило первым морозцем. Все-таки долго, очень долго добирается газета до России!

Соколов вскрыл корзину. Газетные листы смерзлись, и, чтобы их отделить друг от друга, придется отмачивать. Ничего, «Искра» печатается на такой бумаге, которой не страшна вода. Но потом номера нужно просушить.

Василий Николаевич шарит в комоде, заглядывает в чемодан. Тихонько чертыхается. У него в холостяцком хозяйстве нет ни куска веревки. Конечно, у мадам капитанши этого добра сколько угодно, а не попросишь. Придется-таки резать простыню, благо своя.

Через час комната напоминала прачечную. Из угла в угол висели, сушились газеты. Усталый, Мирон прилег, чтобы прочесть «Искру».

Стук в дверь.

— Чайку откусать не желаете?

Хочется послать к черту.

— Спасибо, я, знаете, приболел немного, лежу...

— Тогда я за доктором...

— Нет, нет, не нужно!

В этот вечер его больше не беспокоили, а наутро начался какой-то кошмар.

То чайку, то доктора, капитан советует водочки...

Соколов в конце концов взбесился. Он сразу не сообразил устроить сушилку в задней комнате. Пришлось перетаскивать все хозяйство, вновь развешивать, раскладывать на полу. При этом нужно было ходить на цыпочках, в одних носках, чтобы хозяева внизу не услышали.

«Выздоровел» только через два дня.

А тут новая напасть. Вернулся из бюро, продрог и вспомнил о чае, который во время «болезни» так назойливо предлагали хозяева.

Теперь бы это было очень кстати.

Соколов отпер дверь. Пахнуло теплом, едкими запахами щей и хлеба — офицерша любила сама выпекать караваи. Не успел снять пальто, как уже кто-то стучит.

— Василий Николаевич, тут днем к вам какой-то господин заходил. Очень огорчился, что не застал. Корзиночку оставил, сказал, что будет вечером...

Соколов забыл о чае. Это уж черт знает что, явиться к нему на квартиру днем, когда заведомо известно, что дома его нет, да еще какую-то корзину оставлять!.. Сумасшедшие люди! Наверное, кто-то из приезжих — своих транспортеров он вымуштровал, они подобной глупости не совершат.

Корзина стояла в передней. Когда Соколов ее вскрыл, то возмущение и негодование перешло просто в ярость. В корзине лежали комплекты всевозможных меньшевистских изданий!

Подтащив корзину к голландской печи, Василий Николаевич раздул еще тлевшие в ней угли и с ожесточением стал швырять в огонь брошюру за брошюрой, книгу за книгой.

За этим занятием его и застал Евграф, которого прислал Голубков — предупредить, что Глебов прибыл благополучно, «хвоста» за ним нет.

— Зато я уверен, что у меня их появится не менее десятка, — зло бросил Соколов.

Евграф промолчал. Он еще никогда не видел Мирона таким рассерженным.

— И вот еще что, приехал Никитич *. Голубков ска- зал, что ты знаешь о нем.

Соколов быстро поднялся с колена. Никитич, главный финансист партии?

Василий Николаевич забыл о злополучной корзине. Никитичу сейчас никак нельзя показываться в городе. Этот меньшевик, оставивший корзину, очевидно, привез шпиков. Наверное, в одном вагоне ехали...

— Евграф, у меня эта дверь выходит во двор. Ти- хонько выберись и, уж не посетуй, махни через забор, в калитку нельзя. Обойди переулком дом, перейди на другую сторону, там чей-то сарай стоит. Спрячься и по- гляди... Ну, сам понимаешь.

Евграф ушел. Соколов запихал в жерло печи послед- нюю кипу литературы. Что же теперь делать? Глебов приехал. Глебов — это Носков, член ЦК. Никитич тоже. Соколов никогда еще с ним не встречался. Василий Ни- колаевич знал только, что Никитич живет легально где- то на юге.

Как это нескладно вышло!.. В городе одновременно очутились два представителя ЦК и в момент, когда его квартира наверняка провалилась.

Никитич остановился в Смоленске проездом. Он спе- шил в Москву, но желание самому посмотреть, как об- стоят дела в транспортно-техническом бюро Северного района, заставило его завернуть в этот город. Конечно, если бы он знал, что в тот же день в Смоленск приедет Носков, то изменил бы свой маршрут. Он не имел права рисковать. Удачно, что на вокзале его заметил Голубков и, когда Никитич уже направлялся к нему, глазами ука- зал на Носкова.

* Никитич — подпольная кличка Красина.

Никитич поехал в гостиницу. Он знал, что его отлично сшитое пальто, котелок, трость, выхоленная борода всегда производят на портье неотразимое впечатление. Лучший номер и дорогой обед — тоже средство конспирации.

Раз уж он в Смоленске, то повидать Мирона необходимо. Никитич доволен работой заведующего транспортным бюро. Когда он выезжал из Баку, товарищи, работающие в бакинской подпольной типографии ЦК, сообщили, что их продукция лучше всего идет через Смоленск — ни одного провала.

Но повидался он только с Голубковым. Мирон не пришел — боялся навести шпики на Красина.

Встреча состоялась все в том же статистическом бюро. Заведующего не было, и они расположились в его кабинете.

Голубков нервничал. Он не утаил от Никитича, что его приезд очень некстати, рассказал о корзине с меньшевистскими изданиями, оставленной у Мирона. Никитич пожалел, что заехал. И ему и Носкову нужно скорее убраться отсюда.

— Глебов ныне с бородой?

Голубков удивился. При чем тут борода?

— Когда Глебов за границей, он бреется. Как прибывает в дорожное отечество, запускает вновь. По длине его рыжей бородищи можно определить, давно ли он в России.

— Видно, давно.

— Нужно его скорее отправлять...

Соколов выяснил, что Носков «наследил». Мало этого: охранке, наверное, уже известна и его кличка, и его функции, и его физиономия.

Носков забеспокоился и не стал протестовать, осо-

бенно после того, как Василий Николаевич сослался на Никитича. Да, надо немедленно уезжать!

Соколов еще раз на всякий случай проверил смоленский вокзал.

Темный, грязный, продуваемый всеми сквозняками вокзал в эти дни масленой был переполнен пьяными. Те, кто нагрузился сверх нормы, спали прямо на полу и на длинных деревянных диванах. Правда, таких было немного. Остальные пребывали просто навеселе. Подвыпившие парни горланили песни. У жалкого буфета две оборванные цыганки гадали на ладони и по картам. На первый взгляд могло показаться, что в таком бедламe нетрудно затеряться, пройти к поезду незамеченным.

Но Соколов не торопился с выводами. Найдя свободное местечко в зале ожидания, сел и притворился спящим. Сквозь полуоткрытые веки он внимательно оглядывал всю эту разношерстную, разномастную публику.

Уже через несколько минут его внимание привлек человек неопределенного возраста и как-то странно одетый. Добротное черное пальто и смазные сапоги, руки утопули в здоровенных кучерских рукавицах. Дядя не пьян и, видимо, никуда не собирается уезжать. Может, встречает кого? Тоже вряд ли — ближайший поезд через несколько часов подойдет.

Василий Николаевич снова и снова ощупывает взглядом зал. У выхода на перрон вертится какой-то шустрый господин лет тридцати. Он явно не знает, как скоротать время. Заговаривает с контролером, потом изучает расписание и снова толкается среди пассажиров, выходит на улицу, возвращается. Этот господин очень напоминает облезлую дворнягу, которая не знает, где потеряла кость. Принюхивается и кружит, кружит...

Нет, Носков не должен показываться на вокзале, его стерегут, в этом можно не сомневаться.

Извозчик не удивился, когда два прилично одетых господина велели ехать за город, на «четыреста первую версту». Праздник, и всяк веселится как сочтет нужным. Только на этом полустанке даже кабака прилично-го нет. Разве что деревня рядом. Но дело господское, наняли в оба конца, и коню овес.

Дорога укатанная, лошадь бежит споро. Навстречу то и дело попадают розвальни, битком набитые парнями и девушками. Гармошка взвизгивает, и звук тут же остается позади. Замирает и смех. И так всю дорогу.

Рано темнеет зимой. Из города выехали засветло, а к полустанку подкатили, когда на небе выпали звезды.

До поезда еще целый час, а мороз крепчает. И ветер поднялся, сдувает с верхушек сугробов, с крыш не снег, а прямо-таки толченное стекло. Кучер завел коня в первый попавшийся двор. В избе тепло, чисто, но очень убого. Единственным украшением хаты служит большой медный самовар. Он похож на пузатого кирасира, вся грудь в медалях. Настоящий тульский. И совершенно неожиданно в красном углу под иконой — шлем. Его недавно чистили битым кирпичом, и теперь стали видны темные пористые впадины раковин, выеденные временем.

Хозяйка захлопотала у самовара. А Соколов с интересом вертит в руках шлем. Как он очутился в этой деревенской избе, пришелец из средних веков?

Кто-то потянул Соколова за штанину.

— Дяденька, а дяденька, а у меня и сабля есть... — Мальчишка лет восьми, босой, в драных портах, протянул Соколову обломок меча.

Его никто не чистил, и ржавчина в нескольких местах проела клинок насквозь. Чудеса! Не изба, а музей древних доспехов.

— У нас, дяденька, тутотки много этих шапок и сабель. Почитай, в каждой избе...

Носков, молчавший и нервничавший всю дорогу, немного отошел. Он поверил, что выберется из Смоленска благополучно. Теперь и его заинтересовали шлем и клинок.

— А знаете, Мирон, ведь тут, рядом со Смоленском, огромный могильник — Гнездовские курганы. Не помню, где я читал, что курганов этих чуть ли не более трех тысяч...

Гнездово! Теперь и Соколов вспомнил. Ведь еще осенью ему пришлось побывать в Гнездове. Жил там один учитель, старый народник. Отошел от всех дел старик, но, когда надо, соглашался и литературу укрыть, и ночлег предоставить приезжим. Этот учитель и рассказывал о курганах.

Носков, смеясь, взял шлем и напялил на голову.

— Э, милый витязь, шапочка-то не про вас, великовата размером...

Из-под шлема торчала только рыжая борода.

Самовар зашумел, засвистел. Но что-то уж очень громко и протяжно. Носков первым сообразил: свистит паровоз, приближаясь к полустанку.

Быстро оделся, вынул из картонки судейскую фуражку, сунул в картонку свою шапку — и скорее на поезд.

Извозчик остался чаевничать, Соколов пошел проводить Носкова.

Поезд не задерживался. Едва Василий Николаевич успел махнуть рукой, поплыли вагоны.

Ну, кажется, уехал благополучно. Соколов облегченно вздохнул.

В этот момент он меньше всего думал о себе, своей безопасности. Ему почему-то казалось, что он застрахован от шпиков и жандармов, а вот другие товарищи... Он всегда волновался за них, требовал, чтобы, добравшись до места, они немедленно сообщали о прибытии. Конечно, в условиях конспирации это была излишняя и небезопасная роскошь. Не часто приходили такие письма, и поэтому Соколов жил в постоянной тревоге за друзей.

Но пора и в обратный путь, а то как бы не завьюжило.

В избе за те несколько минут, которые он отсутствовал, что-то изменилось. Но Соколов сразу не смог определить что. Разделся и только тогда заметил, что, кроме хозяев, в хате сидят еще человек пять мужиков. Извозчик забился в угол, растерянно моргает глазами.

— Хозяюшка, подживи самоварчик... Эй, а ты коня накормил?

— Какой тут корм, хоть бы ноги унести...

— Что случилось? — Соколов посмотрел на мужиков.

Молчат, сопят, в глаза не смотрят. Извозчик осмелел.

— Хотят, вишь, за урядником послать...

— Урядником?

— Они, вишь, говорят, неведомо кого привез. Это я-то! Боятся, таскать их будут. А наше дело такое: наняли — везем. Тем и живем...

— Постой, постой. Хозяин, в чем дело?

Хозяин тоже не смотрит в глаза. Зато хозяйка, вооружившись для верности ухватом, затараторила:

— У нас-то ни в чем, а вот у вас какие такие дела? Где товарищ твой-то? Тю-тю, уехал! А почему из города не уехал, почему картузик передел? То-то и оно, что нечисто, пусть урядник и разберется, он власть...

Вот уж действительно никогда не знаешь, где найдешь, а где... Беспокоился за Носкова, а сам, кажется, влип. А ведь и пошлют... Сцапают — и в холодную «до выяснения», а начальнику полустанка прикажут вслед поезду телеграмму: задержите, мол, едет на таком-то месте, в таком-то вагоне...

Василий Николаевич заставил себя сделать несколько шагов к столу, сел на лавку, разгладил усы и улыбнулся хозяйке такой широкой, доброй улыбкой.

— Ну, ставь, ставь самовар, угости чайком-то! Успеешь за урядником послать, не убегу! А эти бороды пусть подумают, у них весь разум в волос ушел...

Это был верный тактический ход. Конечно, он мог сейчас же выдумать какую-либо причину, почему они приехали сюда, а не сели на поезд в Смоленске. Но бородачи не поверили бы. А теперь их грызет любопытство.

Соколов молчит, тщательно расчесывает волосы, охорашивается. Извозчик делает какие-то знаки. Понятно — коня надо покормить.

— Хозяйка, покорми лошадь, имей совесть, заплачу...

Хозяйский сын срывается с места — и босой за дверь.

— Куда?

Хозяйка выронила ухват. Мирон смеется. Бородачи заинтересованы. Станный человек: ему говорят,

что урядника позовут, а он и в ус не дует, чай готов гонять.

— Куда отсель-то, в город аль еще куда? — Хозяин не выдержал.

— Конечно, в город.

— Значит, отработал дельце-то?

— Не совсем.

— Как так — не совсем? Товарищ-то уехал...

— Не весь...

— Вещи остались?

— Хуже...

Соколов нарочно подогревал любопытство. Об уряднике они уже забыли, ждут ответа. Мирон тянет время. Нужно выдумать этакое... А вот что? Ну и выдался же вечерок. Сказка, да и только!..

— Тут история... Товарищу нужно ехать по делу, а его невеста не пускает, ревнует, говорит — уедешь к другой. Надо вам заметить, женщина она серьезная, глаза, говорит, повыцарапаю...

— А что, и очень просто — выцарапает...

— Все они такие!

— Вот баба!

— Так вашему брату и нужно!

— Два дня на вокзале сторожила. Вот мы и трянули сюда. Когда на извозчике ехали, друг мой и шапку напялил, по судейской фуражке-то она бы его вмиг узнала. Вот и вся история. Так-то...

Теперь можно спокойно пить чай. Бородачи забыли о Соколове, шутят над хозяйкой. Та обозлилась, огрызается, а они смеются.

Соколов оделся, поблагодарил, расплатился.

— Счастливо. К нам милости просим...

— Ваши гости...

Евграф обогнал Соколова и пошел впереди. Василий Николаевич немного поотстал. Калитин завернул за угол, снял шапку и перекрестился на церковь. Затем вошел в божий храм.

Кончалась вечерняя служба, богомольцы плотно набились в небольшой церквушке. Соколов подошел к Калитину. Тот крестился невпопад.

Когда поп повысил голос, Евграф наклонился к уху Соколова:

— У твоего дома все время болтаются двое. Второй день их вижу...

Не дождавшись конца службы, Евграф вышел из церкви.

Василий Николаевич подождал, пока он скроется из виду, надел шапку и медленно побрел прочь. Самое разумное — сейчас же зайти к Голубкову, предупредить, и на вокзал. Но в квартире остались вещи, деньги — не его, партийные деньги, — и небольшой тюк с литературой. Пожалуй, он рискнет — явится домой, дождется, пока хозяева уgomонятся, захватит свой багаж — и на вокзал, там переночует.

Евграф догадается предупредить Голубкова. Теперь ему придется ведать транспортом. Об этом условились заранее на случай провала.

Не успел войти в свой мезонин — хозяйка.

— Василий Николаевич, у нас почетный гость — сослуживец мужа. Вы уж не откажите к нам поужинать. Очень просим...

— Спасибо. Сейчас спущусь...

Может быть, так и лучше. Посидит часок-другой, уйдет гость, хозяева, довольные, лягут спать.

Гость, пехотный офицер, капитан, Соколову сразу же не понравился. Какой-то вертлявый, говорливый и все с

намеками, с намеками... О чем только не болтает — о войне с японцами, о «Поединке» Куприна. Потом пошли анекдоты. Хозяева явно сучали. И гость иссяк. Сухо распрощались.

Когда офицер ушел, хозяйка проговорила, что их знакомый получает выгодное местечко в жандармерии.

Василий Николаевич окончательно убедился, что медлить нельзя.

Узел с вещами и литературой получился солидный. Затянув его ремнями, Соколов тихо выбрался во двор, потом через калитку на улицу. К вокзалу нужно было идти направо. Но вряд ли там встретишь извозчиков.

Луна залила ярким светом дома, сугробы, деревья. Улица точно вымерла, и только противоположный тротуар утонул в тени. Прошел квартал, другой — извозчиков нет. Только со стороны тюрьмы, белеющей вдалеке, движется навстречу темная тюремная карета.

Ноги приросли к панели. Карета медленно поворачивает, вот она поравнялась с ним, поехала дальше...

И в ногах появилось ощущение необыкновенной резвости. Перепрыгнуть бы улицу, а там через забор...

Соколов старается идти медленно. Он ждет окрика...

Да, занесла его судьба-злодейка в этот городок! Каменец-Подольск! Не город, а мешок какой-то. Железной дороги нет. Одна — в девяноста верстах, другая — в двадцати. Ни фабрик, ни крупной торговли. Наверное, здесь все знают друг друга, и появление нового человека сразу становится событием чуть ли не городского масштаба. Вот и поработай тут...

Пока добирался до вокзала, извозчик форменный допрос учинил. Хотел было прямо на явку ехать, но из-за этого возницы пришлось в гостинице остановиться.

Явка оказалась действующей. Хозяин явки обещал известить своего человека, связанного с контрабандистами. Соколов решил обождать. Транспортов около года не было. Кудрин, ими ведавший, провалился. Да и не мудрено. И ему здесь долго не удержаться. Значит, медлить нельзя. Нужно пробраться во Львов и переправить литературу. И сразу же оставить этот город.

Хозяин явочной квартиры вернулся быстро и привел с собой какого-то мужчину. Пока мужчи-

на раздевался, Соколов, мельком взглянув на него, решил — новичок. Длинная каштановая борода, неторопливые движения. Повесив пальто, он обернулся, несколько мгновений всматривался в Мирона, потом, как-то нелепо всплеснув руками, бросился обниматься.

— Фу ты! Не узнал! Честное слово, не узнал! Володя, да ты ли это?

— Я, Василий Николаевич, собственной персоной. Но как я рад! Вы живы, здоровы, свободны? Надолго ли в эту богом забытую дыру?

Володя Прозоровский забрасывал Соколова вопросами, тормозил, смеялся неизвестно чему. Василий Николаевич наконец прервал этот поток излияний. Ему тоже любопытно знать, как сложилась судьба его крестника.

— Да это не так уж интересно. А вообще вы были правы тогда. Ой, как правы! Нелегко мне пришлось. В Минске вывески устроился писать, да, видно, ко двору не пришелся. Не получилась у меня благолепная мазня, а заказчикам — трактирщикам, купцам — не нравилось то, что я рисовал. Души нет, русской души, говорили они. Работал и маляром. День отмахашешь кистью, так потом лишь бы до кровати добраться... Книги совсем забросил. Забыл, что такое театр. Худо было. И если бы не Кудрин... Да, тот самый, что провалился здесь. Ведь он в Минске явочную квартиру держал. Потом ее полиция заметила. Кудрин и подался сюда. Я ему как-то сказал, что по-польски говорю с детства, знаю немецкий и французский, вот Кудрин обо мне и вспомнил. Ему транспортер в Галицию нужен был. Когда его арестовали, я во Львове сидел. Там сейчас большой транспорт готовят.

— Ну, а как твоя сестрица? Зинаида, кажется?

— Зина? Она своего добила. Сейчас в Петербурге, курсистка. Мать тоже в столицу перебралась, чтобы присматривать за дочерью.

— А ты не помирился с родителями?

— Так я же и не ссорился. Отец, что называется, проклял, отказал в наследстве, а маман тайком деньги присылает, для нашей тощей кассы тоже подарок.

Как приятно сознавать, что ты не ошибся в человеке! Маменькин сынок нашел в себе силы и мужество, чтобы начать новую жизнь. Ну, а то, что было трудно, — это на пользу. Теперь уж ничего не страшно!

— Василий Николаевич, значит, вместе во Львов-то?

— Вместе, Володя, вместе. Ведь это ты с контрабандистами дружбу водишь?

— Я. Кстати, их предупредить нужно.

— Да, да, поторопи, здесь мы не засидимся. Съездим туда и обратно — и вон из этой ловушки!

...Март. Уже пахнет весной, и днем ласково греет солнце. Но вечерами иногда выпадает снег — тихий, вялый. А чаще к вечеру собирается дождь.

Контрабандист Фома осторожно правит лошадью, часто останавливается, оглядывается. В такой темноте, под дождем не мудрено сбиться с дороги и налететь на пограничные секреты. Но Фома уверяет, что в непогоду секретов не ставят, а где посты, он знает. И они спокойно доберутся до нужной деревеньки.

Соколов замерз, а Володя и вовсе лязгает зубами не то от холода, не то от волнения.

Лошадь остановилась так неожиданно, что Василий Николаевич ткнул лбом в спину вознице.

— В чем дело?

Из темноты показался силуэт. Фома тихо окликнул.

— Дурно... Треба почекаты...

— Ждать. Почему?

— Поставили секреты...

Вот тебе и раз! Фома смущенно шмыгает носом. Выходит, нужно возвращаться. Вместо теплой избы снова несколько часов трястись в телеге под дождем.

Соколов разозлился. Спешил, мок, на ухабах трясся...

— Долго простоят секреты?

— А кто их ведает! Может, день, а может, три...

— Мы переждем в деревне.

— Заметят...

— На пароме уже заметили, да и лесник повстречался...

— Ин ладно, вон у него летник есть. Только днем выходить — ни под каким видом!

— Кормить будете?

— Брюхо чем набить найдем, а разносолов — не выщите...

И вот уже второй день лежат они на широких нарах летника. Вчера еще коротали время в разговорах, а сегодня и говорить не о чем.

Летник забит всякой рухлядью — побуревший картофель вперемежку с рваной сбруей, лопатами, какие-то недоколотые поленья, мешки, проеденные мышами.

И над всем этим убогим царством нищеты и запустения, как боевые знамена, развеваются овчины, кафтаны, рушники, кацавейки.

Два маленьких оконца заткнуты кошмой. Воздух кис-

лый, тяжелый, кажется, на ощупь можно потрогать. Запахи овчины, тухлой капусты, прелой сбруи. В довершение всех бед в плотно закупоренном летнике за зиму устоялся холод, и робкому мартовскому солнцу еще не под силу изгнать его.

Фома приносит неутешительные вести — секреты стоят. Контрабандист уверен, что его клиенты не рискнут покинуть свое убежище. Но Соколов решил двигаться. Сидеть в летнике не было уже никаких сил.

— Фома, сегодня же вечером ты свезешь нас к границе и переправишь на австрийскую сторону...

Фома не хочет рисковать. Он мычит что-то и отрицательно качает головой. Вот упрямая ослица! Ну погоди!..

Соколов решил сыграть на самолюбии контрабандиста:

— Ты не проводник, а... черт те что!

— Я... плохой проводник?.. Я плохой проводник?.. — Фома задохнулся от негодования. — Ладно, идете на риск — ваше дело...

В десять часов вечера деревенька уже спала, только какая-то собака никак не могла уговориться. Фома вздрагивал всякий раз, когда собачий лай раздавался неожиданно близко.

Но вот и брехливый пес выдохся. И только легкий шелест прошлогодней мертвой травы под ногами напоминает об опасности.

Перевалили через какой-то бугор. Потом долго плутали по дну оврага, карабкались на крутой берег. Внезапно совсем рядом, за кустами, тускло блеснула вода.

Фома лег на землю и стал слушать. Он долго-долго не поднимался. Соколов злился. Сколько бы Фома ни кривлялся, какие бы ритуальные фокусы ни выкидывал,

больше сговоренной суммы он ему не заплатит. И нечего набивать цену...

Фома и сам почувствовал, что переборщил. Быстро поднялся на колени и тихонько свистнул. Кусты раздвинулись.

Соколов вздрогнул. Вот ведь артист! Этот дядя сидел в кустах и дожидался сигнала режиссера!

— Готово? Все?

— Все!

— Весла?

— Взял...

— Айда!

Через несколько шагов в руках у Фомы и нового провожатого оказалась лодка. Такая легкая, маленькая, что они без всяких усилий держали ее каждый одной рукой. Еще несколько шагов — лодка беззвучно легла на воду. А еще через минуту рядом с ней закачалась вторая.

— Ложись!

Соколов лег на дно.

Когда перед глазами только звезды, когда слышен легкий всплеск встречной струи, трудно заставить себя думать об опасностях. А ведь на галицийском берегу австрийские патрули прощупывают каждую пядь водной поверхности. И они всегда готовы стрелять без предупреждения. Да и с русского берега в любой момент может раздаться выстрел. А звезды равнодушно смотрят с неба...

Лодка вошла в тень.

На следующий день Соколов уже разгуливал по улицам Львова. За границей он впервой. И так непривычно:

посещает склады социалистической литературы и не ловчит, не оглядывается.

Хотя словчить все же пришлось.

Как раз в день приезда во Львов из Женевы пришло два тюка с литературой. Так как Соколову львовские товарищи по соображениям конспирации не позволили упаковывать ящики и тюки, предназначенные к отправке в Россию, то, стараясь хоть чем-то помочь им, Василий Николаевич вместе с Володей взялись получить женевские подарки.

Почтамт просторный, светлый, никакой толчеи, чиновники вежливые. Но они как-то подозрительно переглянулись, ознакомившись с квитанциями.

Через несколько минут выяснилось пренеприятнейшее обстоятельство. Два тюка, по пять килограммов каждый, показались служителям почты подозрительными. Они решили, что какие-то злоумышленники, нарушая законы, пересылают из Швейцарии беспошлинное масло. Почему масло? Но чиновники не отвечают на вопросы.

Тюки вскрыли, а там литература, и притом социалистическая.

— Панам придется уплатить штраф за несоответствие обозначения груза на упаковке и самого груза...

Только и всего? Соколов полез в карман за деньгами. Оказалось, что нет, не так все просто, нужно составить протокол.

Один чиновник отправился за бланком, другой — за понятыми, без них нельзя.

— Улепетнем?

— Пожалуй... хуже не будет!

— Берем?

— Берем!

Фома был встревожен. Уже луна глядится в реку, теперь не переправиться. Задержался, уважаемый, во Львове против уговоренного. Теперь сиди и жди, когда луна пойдет на убыль!

Но Соколов не хотел и не мог ждать.

— Завтра выйдем пораньше, возьмем только то, что можно унести на себе, остальное вы сами после перевезете.

Фома ушел недовольный. Но он уже понял: с этим русским не поспоришь.

Весь вечер Соколов с Володей перекладывали содержимое узлов и ящиков, чтобы хоть какую-то часть литературы унести с собой. Паковали и ругали на чем свет стоит львовских «пустозвонов», которые целых три месяца собирали литературу для транспорта, два дня паковали. И что ж, в ящиках, медицинские учебники на немецком языке, старые журналы «для семейного чтения», модель черепа, какие-то географические атласы. И черт знает что еще!..

Усталые, поздно улеглись спать. Василий Николаевич — на лавке у окна.

Противная луна! Он невзлюбил ее с той памятной смоленской ночи, когда покидал город. Сегодня луна — главная помеха для их возвращения в Россию.

Луна опрокинула на пол переплет маленького деревенского окошка. Она мешает спать. На какой бы бок Соколов ни перевернулся, всюду свет луны.

Наверное, он все же задремал. Проснулся потому, что в хате стало темно, лунный свет исчез.

В стекло постучали.

Фома?

Соколов поднимается на лавке и снова откиды-

вается на спину. В окно тускло просвечивает медная каска...

Жандармы!

Соколов долго притворяется спящим. Но его все же «разбудили». Пришлось прихватить чемодан, ящик с картами, атласы, череп и плестись к пану коменданту.

Старший конвоир очень предупредителен. В канцелярии коменданта разрешил курить и сам же предложил сигареты. Соколов подробно выпросил солдата, пока ходили за паном комендантом. Оказалось, что на контрбанду здесь смотрят сквозь пальцы, если это только не социалистическая литература. А совсем недавно и ее не задерживали.

Солдат был поляк, долго жил в Варшаве, хорошо говорил по-русски. И когда вошел комендант, саквояж с новинками социалистической литературы исчез под шинелью неожиданного друга.

Пан комендант осматривает ящик. Из-за всего этого барахла не стоило поднимать среди ночи...

На обратном пути Соколова и Володю нагоняет солдат, возвращает саквояж. Но не прощается. У него в кармане бутылка вина, и ее непременно нужно распить «ради приятного знакомства».

Солдат ушел под утро. И посоветовал Соколову тоже не очень мешкать.

В сумерках благополучно перешли пограничную реку. Как будто пронесло.

Вышли на дорогу... И тут-то попались!

Оказывается, их заметил какой-то мужик, прибежал на кордон.

И вот они шествуют под конвоем. Под конвоем про-

следовали и в Каменец-Подольск. Но здесь снова улыбнулась удача.

Соколова и Володю обвинили в том, что они без пропуска перешли границу. Такие нарушения разбирались в суде, а пока их отпустили.

Скорее в Питер, сменить паспорт, получить новое назначение.

Каменец-Подольск остался далеко в стороне.

Пароход подгрребал к самарской пристани. Наступал тот час утра, когда еще не начался трудовой день, но уже все, кто работал, служил, хозяйничал, покинули дома и вышли на улицу. Василий Николаевич был поражен многолюдьем и кипучей суетой этого города.

Пароход не мог подойти к дебаркадеру. На берег нужно было сходить через нижнюю палубу соседнего судна.

Но почему соседний пароход голубеет жандармскими мундирами? После Каменец-Подольска Соколов не может спокойно смотреть на этих держиморд. А вдруг его проследили и теперь предстоит торжественная встреча?

Нет, нет, не может быть. Такой «почетный эскорт» из десятка жандармов, право же, не по чину.

Василий Николаевич пропускает пассажиров. Ему некуда торопиться.

И пассажиры, и жандармы не выспались. У них мятые физиономии, они дружно зевают в ладони.

Значит ли это, что жандармы ждали его долгую бессонную ночь?

Ерунда! Сам не выспался и распустил нервы.

Несколько шагов по качающимся сходням... И никто его не задержал, никто не зацепился взглядом. А ему-то казалось, что весь берег только и смотрит на него!

Жандармы вели себя как-то необычно. Ладно, шут с ними!

В Самаре Мирона не знают. Это и хорошо, и вместе с тем плохо. Хорошо в отношении полиции — пока-то еще там шпики приглядятся. А плохо то, что уже сегодня негде ночевать.

Выбравшись на пристань, Соколов в нерешительности топчется у стоянки извозчиков.

Извозчики во всех городах одним миром мазаны. Увидели приезжего и заывают. Пятак кинули, кому везти господина.

А куда ехать? Делать нечего — к Арцыбушеву.

— В управление Самаро-Златоустовской дороги, — негромко, чтобы услышал один лишь возница, сказал Соколов.

Извозчик полоснул вожжами:

— Но-о-о!

Пристань, попутчики, жандармы остались позади. А местные голубые мундиры похожи на сонные огородные пугала. Или нет, они скорее напоминают заспанное воронье.

— Скажи-ка, братец, чего это спозаранку на пристани столько жандармов подвалило?

Возница хмыкнул.

— И смех, и грех, барин! Навигация в нынешний год ранняя. А их высокоблагородие господин полковник ихний поспешил в Астрахань отправиться с семейством. И третий день гоняет служивых на пароход, чтобы они каюты обоспали. Пароходики-то прямо из затона...

— Как так «каюты обоспали»?

— А так! К примеру, если клопы или там иная какая нечисть в каютах завелась, враз на жадармов бросится. Служивые каютки эти заприметят и доложат их высокоблагородию... Только сдается мне, ночью ни клопы, ни крокодилы им нипочем. Нажрутся водки и храпят, аж кони шарахаются.

«Обоспят»! Занятно. Хорошо бы и мой приезд проспали!»

По булыге коляска гремит, как колесница Ильи-пророка. Подковы высекают молнии.

Городок, конечно, не слишком-то симпатичный. Пыльно, грязно. А ведь на улицах немало зелени. Ничего не поделаешь, транспортная контора и Восточное бюро ЦК РСДРП должны обосноваться здесь. А поначалу избрали университетский Саратов. Красивый, оживленный, интеллигентный.

Но Самара удобнее тем, что стоит на магистрали, связывающей Россию с Сибирью. Именно по этой самой Самаро-Златоустовской дороге зайцами или с чужими паспортами, переодетые, от станции к станции пробираются те, кто не пожелал задерживаться в «сибирских тундрах». Едут и те, чьи сроки пребывания «в местах не столь отдаленных» окончились. Они ищут приюта, они нуждаются в явках, документах, многих нужно переправить за рубеж.

И партия должна им помочь. Ну, а помимо этого, транспортно-техническое бюро обслуживает местные комитеты литературой, является связующим центром на огромной территории от Астрахани до Челябинска, от Баку до Москвы.

Извозчик уже скрылся из виду, а Василий Николаевич все еще не решался войти в здание управления.

Да что с ним сегодня? Арцыбушев — товарищ надежный, проверенный. Откуда такая нерешительность? Наверное, дело в том, что слишком уж много всяких легенд вокруг Арцыбушева понакрутили. Рассказывают о его странностях и рассеянности. Выставит он, к примеру, на окна условные знаки, а потом забудет их снять и удивляется, негодует, почему к нему никто из товарищей не заходит.

Соколов медленно входит в вестибюль, снимает пальто. Потом, что-то вспомнив, вынимает из кармана какую-то книжку.

Тоже глупость — все эти пароли! Конечно, совсем без них нельзя. Но если посторонний человек ненароком услышит обмен такой тарабарщиной, сочтет за сумасшедших, панику поднимет, полосатый халат потребует напялить.

Соколову открыты «три степени доверия». Была ли четвертая и пятая, он не знал. Но хватит и трех.

Первая степень:

«Товарищ Мирон?»

«Он самый».

«Битва русских с кабардинцами...»

«...или прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего мужа».

Здесь нужно сделать паузу. Потом проверить, посвящен ли товарищ во вторую степень.

«Где вы читали эту книгу?»

«Там, где любят женихов».

И наконец, вершина:

«Хорошо ли там жилось?»

«Насчет пищи — ничего, а спать было холодно».

Черт бы побрал Носкова, он выдумал этот пароль. Сколько раз уже Мирон пытался с серьезной миной

изречь эту абракадабру и всякий раз под конец хохотал. Вот и теперь: достаточно вспомнить, и трудно удержаться от смеха.

Василий Петрович Арцыбушев «чистил перышки». Так он называл операцию по ликвидации всевозможных уличающих бумаг.

В свои сорок семь лет Арцыбушев выглядел стариком. Седая борода, седая грива, давно не знавшая ножниц.

Дома он уже успел «почиститься», но на службе, в кабинете, могли завалиться какие-нибудь документы. Подобную чистку он проводит уже несколько лет в канун Первого мая.

Наверное, и в этом году его «изолируют», пока не утихнет первомайская страда.

Бумаг много, но почти все они служебные и только лишний раз напоминают о начальстве, окриках, приказах. Давно бы бросил опостылевшее место в конторе железной дороги, да нельзя. Нет у партии денег, чтобы содержать не только его самого, но и его семью.

На самом дне ящика — газета. Арцыбушев разворачивает — катковская, старая. Как она к нему попала? Он ведь не читает газет, издаваемых таким верноподанным зубром, как Катков.

Арцыбушев бегло просматривает полосы. Вот оно что: Лев Тихомиров, народоволец, стал ренегатом и, выпросив прощение у царя, занял место редактора в катковской газете!

Как давно это было! Сколько ссылок, тюрем, этапов прошел Арцыбушев! Не верится, что когда-то он был соратником Петра Зайчневского, автора «Молодой

России», что еще в семидесятых годах ходил с котомкой по деревням и селам и пытался поднять крестьян на борьбу с самодержавием.

Зайчневский в 1896 году умер в Смоленске. А если бы дожил, то обязательно стал бы большевиком.

А сколько бывших народников ушли к социалистам-революционерам и вновь занимаются «вспышкопускательством»! Здесь, в Самаре, Арцыбушеву приходится бороться с ними, и не всегда победа остается на стороне социал-демократов

Воспоминания неожиданно вернули его к делам сегодняшним. Откуда-то из глубины поднялось неумное желание совершить что-нибудь из ряда вон выходящее. Старая народническая закваска все же давала себя знать. Всякий раз, когда его обуревали такие желания, на ум приходил сызранский мост. Он и сам не мог бы сказать, почему так захотелось этот мост взорвать, почему, например, его не тянет бросать бомбы в царей, губернаторов, министров.

...Дверь кабинета открылась бесшумно. Соколов огляделся. Хорошо, что «Марксу» можно представиться без свидетелей.

Василий Николаевич вытаскивает из кармана томик Лермонтова. Протягивает. Пока «старый волк» будет считать едва заметные точки над буквами третьей строфы шестнадцатой страницы, Соколов приглядится к новому знакомому.

И он рассматривает его, не скрывая любопытства. Действительно, Карл Маркс. Ничего не скажешь, колоритен этот бывший курский помещик, бывший народник эпохи «хождения в народ». Говорят, что он раздал земли свои крестьянам, облачился в зипун и лапти и... угодил в «сибирские тундры».

— Битва русских с кабардинцами?

Соколов не сразу сообразил, что должен поведать о горькой судьбе прекрасной магометанки.

Потом оба долго хохочут, долго трясут друг другу руки.

Арцыбушев тянет Соколова вон из комнаты. И никаких протестов. Сегодня он хозяин. И потому «приют», или «притон», как величают его квартиру местные соц-деки, самое удобное и, конечно же, самое безопасное прибежище для усталого гостя.

В арцыбушевском «притоне» и впрямь уютно. Милая, тихая хозяйка, куча детей, какие-то юноши, девушки, гимназисты, студенты. Наверное, просто постояльцы. Но все они предупредительны, заботливы. И, чего греха таить, после дороги так приятно побаловаться чайком, а потом вытянуться на хозяйском диване под теплым пледом.

Арцыбушев что-то рассказывает...

И снится Соколову длинный-длинный сызранский мост через Волгу. По мосту снуют паровозы, и ветер пригибает дымные хвосты к воде. За паровозами идут толпы людей. Останавливаются, нагибаются, что-то бросают под ноги и бегут, бегут...

И снова паровозы. Потом дым окутывает мост, слизывает ферму за фермой...

— Э, батенька, да вы уже спите! Ну-ну, я в другой раз, в другой раз... Только мост мы с вами взорвем обязательно!

И нет ни моста, ни паровозов, ни хозяина...

Утром Волга светится мириадами маленьких солнц. Они гаснут, вспыхивают, забавно мигают и внезапно ис-

чезают. Шуки, лещи, судаки гоняют мелкоту. Удары рыбьих хвостов раскалывают солнечные блюда.

Немного позже светило загонит обитателей вод в мглистую полутьму омуты.

Соколов проснулся от беспокойной мысли: цел ли сызранский мост или вчера его все-таки взорвали?

Хозяин давно ушел на службу, разбрелись и постояльцы «притона».

Хозяйка деловито подливает чай, а он все старается разобраться в сновидениях.

Нет, мост, взрыв — это арцыбушевские фантазии. Соколова предупреждали еще в Москве.

Как ни колоритен Арцыбушев, как ни мила его хлопотливая жена, все же напрасно он пошел ночевать в этот «притон». Оказалось, что Василия Петровича перед каждым Первым мая полиция обязательно сажает этак недельки на две ради профилактики. А ведь скоро Первое мая. Нет, не надо было заходить к нему. Через несколько дней Соколов уже с головой ушел в ставшую привычной работу. Вот только с помощниками у него плохо. Напрасно отпустил Володю. Но парню так хотелось учиться, и в Киеве, куда его отправили, такая возможность может представиться.

Накладные приходят на Пензу, Саратов, Астрахань; бывают и на Самару.

Ночь душная, сны навязчивые. И простыня — как раскаленная сковорода. Василий Николаевич несколько раз просыпался. Не открывая глаз, пытался о чем-то думать, вызвать приятные образы. И снова проваливался в парную духоту. Только к утру из открытого настежь окна потянуло прохладой и запахами реки.

Утро прогнало сновидения. Но уже встало солнце. Его лучи забрались в комнату. Разбудили. Соколов подумал, что поэты врут: солнечные лучи не тихие гости, они ужасно шумят и ругаются хриплыми голосами...

Василий Николаевич уселся на кровати. Еще только семь часов, а эти ломовики под окнами уже успели где-то напиться и кричат, бранятся, запрягая лошадей.

Очень болит голова. Вялость сковывает тело. Поспать бы! Но теперь уже не удастся.

Вода в тазу за ночь нагрелась, и умывание не освежило. Да, июльская жара в Самаре дело нешуточное.

В дверь постучали. Сильно, требовательно. Так стучат только полицейские и почтальоны. Сонливость как рукой сняло. Открывать или... А что — или?

Соколов осторожно подошел к окну. Прячась за выступ рамы, посмотрел во двор. Извозчики уехали, во дворе пусто. Полицейских не видно. Значит, открывать...

Почтальон ворчит. Ему тоже жарко.

Расписавшись, Мирон запер дверь. И кому это в голову взбрело посылать заказные письма прямо к нему на квартиру? Есть специальные адреса, есть почтамт, наконец. Вскрыл конверт. Из него вывалились две зеленые бумажки. Накладные на получение груза в самарском порту.

Что за дьявольщина! Груз — гудрон в ящиках...

Соколов заглянул в конверт, но там больше ничего не было. Накладная на предъявителя...

Какая-то ошибка, почта, наверное, перепутала. Да нет, на конверте его адрес, его фамилия. Откуда этот гудрон? И штамп отправителя не разобрать, очень блеклый.

Соколов достал лупу: «Баку».

Так, значит, гудрон от бакинских товарищей. Инте-

ресно, что он с ним должен делать, куда везти эти ящики?

Утро начиналось с загадок. Теперь он целый день будет думать об этом проклятом гудроне, а после обеда все равно нужно сходить в порт, узнать, не прибыли ли.

Жандармский унтер Гуськов совершенно сомлел в дежурной комнате.

В окно была видна спина городского. Белая рубаша на нем взмокла и прилипла к телу, даже на фуражке расплылось темное пятно от пота.

Порт не шевелился, грузчики едва таскали мешки и через каждые полчаса плюхались в воду.

Ломовые извозчики распрягли лошадей, а сами забрались под телеги, прямо на булыгу грузового двора.

Черный, как прокопченный котелок, портовый буксир с трудом подтягивал к причалу здоровенную баржу. Буксир дышал тяжело, словно и ему было невоготу от этой адской жарыщи.

Портовые рабочие, сняв рубахи и закатав штаны, тащили деревянный переносный кран.

«Наверное, снова бочки с нефтью прибыли, раз кра-ном разгружать собрались», — лениво подумал Гуськов. Ему надо было выйти на причал, осмотреть баржу, но не было сил подняться.

Баржу наконец пришвартовали. Приладили и кран. Выбравшиеся из воды грузчики о чем-то заспорили с крановщиками. Двое грузчиков влезли на баржу и выкатили здоровенную железную бочку, обвязали ее веревкой, подцепили за крюк. Заскрипел ворот, бочка дернулась, отделилась от настила баржи, как-то нелепо перевернулась в воздухе и шлепнулась в воду.

Гуськов окончательно пришел в себя. Хотя его и не касалось это происшествие, но все же непорядок.

Гуськов, кряхтя, направился к причалу. Рабочие перетаскивали кран на новое место.

Соколов обогнул пакгауз и, скрываясь в его тени, стал спускаться к воде прямо по берегу, минуя лестницу, залитую солнцем. Трава выжжена, земля высохла, потрескалась. «Опять неурожай», — подумал Василий Николаевич, но тут же споткнулся и, едва удерживая равновесие, вылетел на дощатый помост. С разбегу он чуть было не свалил Гуськова.

Унтер охнул, когда его боднул головой в грудь какой-то здоровенный дядя, и, недолго думая, схватил Соколова за шиворот.

— Очумел, что ли?

Соколов рванулся. Инстинктивно. Ведь его держал не кто-нибудь, а жандарм! Но тут же пришел в себя.

— Пардон! Экая жарница... Я не очень больно вас?

Жандарм отпустил воротник рубашки, вытер усы и, не удостоив Соколова ответом, сделал несколько шагов. Потом резко обернулся.

— Непорядок-с! Вы по какому праву на грузовой пристани?

Час от часу не легче! И надо же ему было споткнуться! Показать накладные? А может быть, они только и дожидаются их предъявителя? Наверняка. Ведь жандарму на грузовой пристани делать-то нечего, здесь должен дежурить городской.

— Да вот нога подвела... Шел себе спокойно, и вдруг она, подлая, и подвернулась... Ну, я и скатился вниз... Да вы не сердитесь, ведь без умысла. Сейчас поднимусь...

Жандарм заложил руки за спину, расставил ноги, всей своей позой давая понять, что не сдвинется с места, пока этого господина здесь и духу не будет.

Пришлось карабкаться наверх. Сегодня уже нельзя появляться на пристани. А завтра надо хорошенько осмотреться, прежде чем приходить сюда.

— Бере-гись!

Голос оборвался. Что-то грохнулось на настил причала.

Соколов оглянулся. Жандарм бежал к группе людей, обступивших большой деревянный ящик. При ударе о настил доски местами оторвались, и из ящика медленно, как бы нехотя, густым черным тестом выползал гудрон...

«Батюшки, гудрон в ящиках!.. Уж не на эту ли партию гудрона мои накладные?»

Соколов быстро перебрался к стене пакгауза и, прячась за ее выступом, стал наблюдать.

Грузчики снова ругались с крановщиком и рабочими. Ящик, слава богу, никого не придавил, но теперь нужно было опять двигать кран. На солнцепеке гудрон стал быстро растекаться, угрожая отрезать дорогу к крану. В суматохе, пока кран двигали, никто не заметил, как сквозь разбитые ребра большого ящика проглянул еще один, маленький, черный, добротнo сколоченный.

Соколов уже больше не сомневался. Это действительно та партия гудрона, на которую накладные лежали у него в кармане. Он разгадал загадку, заданную ему бакинскими отправителями. В том маленьком ящичке — литература. Конечно, придумано здорово. Но вот бывают и такие оказии. Не налети он на жандарма, влетел бы прямо в тюрьму.

Пожалуй, пора и уходить.

Между тем маленький ящичек заметили рабочие, грузчики, они даже попробовали извлечь его из большого. Но растекающийся гудрон не подпускал близко. Достаточно поставить ногу, и она прилипала к обжигающей черной массе.

Жандармский унтер бегал вокруг ящика, как шелудивый пес вокруг кости. Кто-то успел крикнуть: «Контрабанда!» Прибежал городской с досками. Их перекинули через лужу гудрона. Разбили до конца большой ящик. Но маленький так приклеился к остаткам гудрона и нижним доскам, что при первой же попытке его поднять, городской только оторвал доску. Жандарм схватился за голову — в ящике лежали стопки каких-то не то книг, не то брошюр.

Соколов выбрался на набережную и торопливо зашагал в город.

Гудронный транспорт провалился. Накладные нужно сжечь и немедленно поменять квартиру. Вернее, уже сегодня он не может вернуться к себе домой.

Как часто стали повторяться похожие ситуации! Так было в Смоленске, в Каменец-Подольске, теперь в Самаре.

Надо предупредить товарищей, чтобы они сейчас же «очистили» его комнату и передали по цепочке о провале. Вот ведь к чему приводит пренебрежение азбукой конспирации! Будь накладные посланы не по его адресу, а, скажем, на почтамт, он ничем не рисковал бы. Хотя, наверное, случилось бы худшее. Пока он ходил на почту, получал накладные, злополучный ящик разбили бы без него. Жандармам оставалось бы только дожидаться хозяина груза.

Богомоллов добрался-таки до Астрахани, о которой мечтал в сырой, угрюмой уссурийской тайге.

Жить просто так, без риска, без приключений, он уже не мог, но бродяжничать больше не тянуло, охота надоела. Богомоллов стал присматриваться к общественной жизни города.

Сначала ему показалось, что в этом отношении Астрахань просто заштатный городок. Ни тебе забастовок, ни шествий, ни покушений. А если верить слухам, в Центральной России, Прибалтике, Украине то и дело или губернатора прикончат, или какого-либо зверствующего жандарма. Правда, все это дело рук социалистов-революционеров, а Богомоллов относился к ним скептически. Террором ничего не добьешься, да и правительство не запугаешь. Уж на что грозными были народовольцы, убившие Александра II, а все кончилось тем, что на престол взобрался Александр III...

Убили Плеве, министра внутренних дел, ну и что? У царя министров хватает, во всяком случае, их значительно больше, чем одиночек-террористов из числа социалистов-революционеров.

Наверное, он в конце концов уехал бы из Астрахани, если бы не случай.

Познакомился с Ольгой Варенцовой. Старая социал-демократка, искровка, большевичка, она активно работала в Астраханском партийном комитете.

Смелый, находчивый, всегда ищущий приключений Богомоллов мог быть полезным партии. Но только не как оратор или пропагандист. У Богомоллова темперамент, он готов пройти по острию ножа, а вот на импровизированной трибуне митинга чувствует себя гостем.

Кесарю кесарево. И Богомоллов вскоре показал себя. На деле, конечно.

К концу лета Соколов подобрал двух-трех помощников, наскоро проинструктировал их и разослал с тюками. В это время через Самарское бюро уже проходило по тридцать-сорок пудов литературы ежемесячно. Самому Василию Николаевичу пришлось ехать в Астрахань. Баку прислало туда посылку «кавказских чувячков».

В Астрахани посылки никто не ожидал. Конспиративной квартиры, на которой можно было бы рассортировать груз, не оказалось. Ольга Варенцова даже рассердилась, когда Соколов нагрянул:

- Предупреждать надо!
- Ничего, мы экспромтом...
- А когда же получать?
- Сегодня, завтра...
- Ну и народец!

А народец — это всего-навсего Соколов в единственном числе. Но сам идти за грузом он не может. Нужно подыскать получателя.

Варенцова хотя и ругалась, но получателя нашла быстро. Богомоллов оказался очень расторопным человеком. Он уже имел кличку «Маэстро».

Получить «чувячки» — какой же здесь риск?

Богомоллов доставил посылку Миرونу. Они вместе упаковали литературу. Половину Соколов намеревался захватить с собой в Самару, а половину отправить малой скоростью в далекий Томск.

Посылка получилась компактной, но более чем увесистой. Соколова это беспокоило: а ну как спросят, что в ящике? Почему он такой тяжелый?

Соколов ничего не мог придумать и машинально бродил по комнате, подбирая обрывки бумаги, старые газеты. Именно эти старые газеты и пришли ему на

помощь. В одной из них он обратил внимание на заметку об экспедиции Томского технологического института на Кавказ. Была газета от июня — значит, сейчас самое время экспедиции свертывать свою работу, собранные экспонаты домой отправлять.

Соколов повеселел. Теперь он знал, что лежит в ящике: «Минералогическая коллекция». Он так и написал на крышке.

Но веселился недолго.

Только ящик поставил на весы, как служащий конторы стал интересоваться тарифом. Листал, листал страницы тарифов:

— У нас такого товара не указано...

— Но это и не товар вовсе. Это собрала ученая экспедиция на Кавказе.

— Что же это такое?

— Это, знаете... камни разные, отпечатки раковин, угли каменные, минералы... Профессора и студенты там их собирали.

— Но по какому тарифу мы их станем оценивать? В номенклатуре нет таких.

— Ну, подходящий возьмите.

И ведь дернула нелегкая написать «Минералогическая коллекция»! Если бы еще он знал их номенклатуру! А он радовался. Сейчас этот усатый предложит вскрыть ящик.

— Знаете что, разрешите, я напишу другое название? К примеру, «учебные пособия»? Как раз подходящее, и в номенклатуре они значатся.

— Да, господин хороший, но книжечки всякие по тарифу оцениваются дороже.

— Ну и пусть себе...

Усатый что-то прикинул на счетах.

— Благоволите уплатить двадцать рублей...

Час от часу не легче. Обычно деньги платятся при получении груза, а тут на тебе! А у него в кармане разве что рублей пятнадцать и на обратный билет.

Кое-как уломал, заплатил половину. И, обессиленный, поплелся на пароход с трешкой в кармане.

Деловито перестукивают плицы. Им много работы — ведь сколько воды нужно взбаламутить, подгрести, оттолкнуть! И только у пристани колеса могут хоть немного отдохнуть.

На верхней палубе жара сморила пассажиров. Они перебрались на теневой борт, и теперь штурман ругается, пугает, что пароход перевернется. А он и правда перекосялся, вот-вот кверху брюхом поплывет.

Угрозы штурмана действуют, но ненадолго. Солнце выжигает у пассажиров всякое благоразумие, и они вновь ищут спасительной тени.

Учитель Царицынской гимназии забрался в салон, открыл окна и вдруг обнаружил, что продуваемый сквозняком салон хорошо защищает от жары. Лишь бы сюда народ не набился, а то тогда духота станет невыносимой.

Так прошло несколько часов.

Напрасно метрдотель ресторана приглашал обедать. Кому сейчас, в такую жару, до еды!

Учитель задремал тяжелым сном. А когда проснулся, солнце уже клонилось к далеким синеватым бликам горизонта.

В салоне сидели красный, потный становой пристав, не по уставу расстегнувший все пуговицы мундира, и поп. От пота поповская грива слиплась смешными ко-

сичками, рукава рясы были закатаны выше локтя, так что достопочтенный батюшка напоминал молотобойца или волжского грузчика.

Увидев, что учитель открыл глаза, пристав немедленно предложил:

— А не сгонять ли нам пулечку по-поповски?

— Не худо бы, не худо... Оно, может, и ночь скорее пролетит. Все одно в каюте как в аду...

Учитель тоже был не против. По-поповски, конечно, много не выиграешь, но зато и проиграть не проиграешь. Вот только четвертого партнера нет.

— Втроем будем?

— Нет, батенька, втроем это не игра... — пристав никак не мог подобрать подходящее сравнение, — а черт знает что!

— Четвертый найдется! — учитель с надеждой посмотрел на прилично одетого мужчину лет этак тридцати — тридцати пяти, который только что вошел в салон и с наслаждением подставил разгоряченное лицо освежающей струе ветра, бьющего из окон.

Мужчина понял — его приглашают. Но, увы, он не умеет играть, да, право, и не хочется, к тому же у него и с деньгами туго: поистратился в Астрахани.

— Да вы хоть так посидите, чтобы место занято было, — уламывал учитель.

Поп убеждал:

— Вчетвером ведь всегда один холостой — выходной, как говорится, показывать будет. Причем по сороковой даже ребятам на подсолнухи не выиграешь, не проиграешь. А время провести надо. Принципиального ущерба, поверьте, никакого...

Уломали.

Сели. Сдали. Соколову везло, хотя сам он почти

не играл, так как каждый свободный от игры партнер заставлял его картами.

Но выигрыш неизменно записывался ему.

— Везет как утопленнику, простите за выражение. То ли вы в сорочке родились, то ли с чертовой бабкой в дружбе...

— Может, перемениться местами?

— Нужно всем передвинуться, чтобы не мешать сдачу...

Пересели. Потом еще раз. Ничего не помогло. Карта шла и шла к новичку.

Пулька кончилась. После расчетов на столе около удачливого игрока выросла куча бумажек и даже поблескивало золото.

Учитель совсем проигрался — это видно было по его кислому лицу. Наверное, деньги, с таким трудом накопленные, чтобы купить родным недорогие подарки или просто припасенные с отпуска, оказались в чужом кармане.

Учителю хотелось отыграться. Поп, проигравший немного, почесывая гриву, басил:

— Играй, да не отыгрывайся! А не скинуть ли нам в банчок?

Учитель с надеждой посмотрел на Соколова. Становой нерешительно принялся тасовать колоду. Они плохо верили в то, что человек, огребший такую солидную сумму, вновь рискнет счастьем. Он вправе и отказаться — тогда прощай денежки.

Соколов чувствовал себя страшно неловко. Вид денег, выигранных в карты, вызывал отвращение. Может быть, он сумеет их спустить в банчок, о котором не имеет никакого понятия?

Игра оказалась простой. И снова, как бы подтверж-

дая суеверие, карта шла к новичку. Уже поп стал задумываться каждый раз, когда нужно было делать ставку. Учитель распорол подкладку и дрожащими руками залез в потайной карман.

Игру прервал хриплый вой парохода, возвещавший о подходе к пристани.

Попу и становому нужно было выходить. Игра оборвалась. Учитель, пошатываясь, побрел в каюту...

И снова нескончаемая лента берега, судорожные толчки машины да порядком надоевшее журчание воды за бортом.

Учитель Царицынской школы Пресняков, несмотря на духоту, улегся, чтобы хоть во сне забыть об огорчениях этой ночи. Но разве уснешь? Теперь, когда пулька сыграна, он хорошо видит собственные промахи. И все же в собственных неудачах и в таком ошеломляющем проигрыше Пресняков склонен обвинять своих партнеров, и прежде всего этого господина, который говорил, что не умеет играть. Всех обобрал. Батюшка, когда с парохода сходил, даже помянул его нецензурным словом. А ведь прикидывался. И поначалу, правда, такие промахи делал, словно впервой за картами. А потом и начал, и начал. Нечисто здесь, нет, нечисто. И ведь жена перед отъездом наставляла — не играй. Знает его слабость. Пугала, что в чужом городе мало ли какой шулер попадется, а на пароходе и подавно. Ведь он не раз слышал, как именно на пароходах эти нечистые на руку господа обирают доверчивых пассажиров. Небось станового побоялся обыграть. А пристав тоже хорош — ужели не догадался, с кем играет? Взял бы за шиворот — и в околоток на первой же пристани, денежки выигранные отнял да и отдал бы потерпевшим.

Пресняков поднялся с дивана, вышел в коридор и

на палубу. Светало, пароход причалил к какой-то пристани. На воздухе стало немного полегче, не так болит голова.

Пресняков прошел на корму. Безразличным взглядом окинул убогие домики, сарай и вдруг заметил этого самого господина, что облапошил их.

Ушел, ей-богу, ушел! Вон он с каким-то бродягой сговаривается.

Пресняков заметался по палубе. Теперь он уже был уверен, что удачливый игрок — профессиональный шулер и его надо задержать. Трусливый, слабый человек, он утешал себя тем, что бегают, ищет полицейского, хотя прекрасно понимал: если он даже и найдет представителя власти, то шулера уже не поймать. Да и какие у него доказательства? Ни попа, ни станового нет.

Пока Пресняков суется, пароход дал первый гудок к отправлению.

Несмотря на бессонную ночь, Соколов и не собирался ложиться.

Пустынны, мертвы в эти предутренние часы причалы, кособокие склады под дырявыми тесовыми крышами, гнилые навесы для хранения бревен. Где-то за кромкой высокого берега встает солнце. И только одинокая телега повизгивает вдалеке давно не мазанными колесами.

Соколов смотрит в окно каюты и ничего не видит.

Как скверно на душе! Он уже два раза мыл руки. И все равно всеми пальцами, ладонью ощущает скользкую, влажную поверхность карточных рубашек. Дамы, валеты, тузы — как камни на сердце. Он был последним идиотом, когда согласился сесть за стол! Переконспирировался, надеялся, что в компании попа и при-

става его не заподозрят. А кто подозревал? Никто! Если бы даже почему-либо в салоне обыск учинили, его документы в порядке. Ну, а начали бы вещи в каюте ворошить, то ни поп, ни пристав не спасли бы.

Тоже поверил, что в пулечку по-поповски ни выиграешь, ни проиграешь! Выиграл, да столько, сколько в жизни на руках не имел.

В карманах хрустят кредитки, звякает золото.

Рубли, трешки, пятерки... Какая мерзость!

Соколов высовывается в окно, жадно ловит легкую струю слабого рассветного ветерка.

Что за наваждение? Под дровяным навесом улеглись рядами рубли, полтинники, четвертаки. Чур-чур! Поме-решилось!..

Соколов зажмуривается, трясет головой. Перед глазами огненные круги, вспышки молний. Глаза режет острая боль.

Глянул снова.

Нет, это не мираж: из-под навеса торчат подошвы сапог, драных ботинок, лапти. На подошвах мелом жирно выведено: «1 р.», «50 к.», «25 к.». Ниже цены нет. А вон сапожище — так на нем даже полтора рубля начертано.

Никогда ничего подобного Соколов не видывал. Похоже на распродажу старой обуви. Нет, не похоже. Вон лапоть описал в воздухе небольшую дугу и лег на другой лапоть...

Соколов, забыв о своих огорчениях, поспешно запирает каюту, гремит сходнями и, запыхавшись на крутом подъеме, подходит к навесу.

Навес для бревен, но бревен нет. Бревнами в мертвецком сне валяются люди. Одни мужики. Какие тут наряды!.. Красные, синие, просто грязные косоворотки,

драные, домотканого сукна зипуны, непомерной ширины шаровары и белые холщовые порты, все в причудливых узорах застаревших сальных пятен.

Такие «лежбища» Соколов видит не впервой. Но что означает прейскурант цен, аккуратно выведенных на подошвах? Кстати, теперь бросается в глаза, что есть и просто голые пятки без цены, лапти, сапоги, также неоцененные.

— Эй, барин, тебе чего надобно?

Соколов не сразу понял, что вопрос этот задан ему.

Среди спящих поднялась косматая голова. Сонные глаза смотрят с ленивым прищуром, в волосах запуталась солома.

— Скажи-ка, зачем это вон у тех на подошвах цены выставлены? Сложишь, глядишь, и за сотню перевалит...

— А ты откель будешь, барин, ежели не знаешь? — Здоровенный мужик в посконной рубахе сел и ожесточенно заскреб обнаженную грязную грудь. — Туточки все работяги спят. И ежели тебе кого нанять потребно, то сначала на цену глянь — подходит ли? А не подойдет — не буди: люты после сна, кабы беды не случилось...

Ловко придумали! Соколов посмотрел на подошву своего собеседника. Там цены не было.

— А ты почему ничего не написал?

— Э, барин. Я бурлак. А бурлак бурлаку не ровня. Тут мы артелью, поодиночке не нанимаемся. Тот вон — «дядька», знает, куда суда вести. Я «шишка» — в лямке передовой. Два моих брата в «косных» — в хвосту упряги идут, по деревьям и мачтам шастают, когда трос засекают. У нас артель коренная — на весь путь задаток берем. А те, что вон с краю, «добавочные» — они каждый за себя, поденно, вот и выставили цены...

«Шишка» уставился на Соколова, как бы спрашивая, будить или не будить «водолива», чтобы сделку заключать, по рукам ударить да в кабак.

Соколов чувствовал себя неудобно. Хоть он никого и не будил, но если вот так сейчас молча уйти, то он в чем-то обманет надежды этих людей, зарабатывавших хлеб таким тяжелым, каторжным трудом.

Вот бы сюда меньшевичков из тех, кто кричит, что членов партии нужно низвести до уровня последнего стачечника... Их бы к этому уровню приравнять — кому какую цену на подошвах поставить?

Э, да всем им грош цена!

Из задумчивости его вывел сиплый гудок парохода. Торопливо всучив детине какую-то кредитку, Соколов кубарем скатился с обрыва.

Как он мог забыть, оставить без присмотра чемодан с литературой?

И снова нескончаемая лента берега, судорожные толчки машины да порядком надоевшее журчание воды за бортом.

И вновь гложущая тревога.

...Скоро Черный Яр. И, наверное, «обобранный» учитель будет взывать к возмездию в полиции. Чуть заикаясь, доложит приставу: «Обобрал ведь, начисто обобрал. И не меня одного... батюшку и его благо-о-родие станового... Р-ради христа... задержите ш-шулера, отберите деньги, ведь этак он весь пароход об-бчистит...»

Натянутые нервы, воспаленное бессонной ночью воображение отчетливо рисуют знакомые уже сцены. Стук в каюту... Полиция... Документы. Обыск. Чемодан с нелегальной литературой... Тюрьма...

Какой же он идиот!

Соколов уже не может спокойно сидеть на месте.

До Черного Яра ни одной пристани. А в воду не прыгнешь...

Вон и учитель ходит и ходит по палубе. Ну конечно же, он стережет его.

Нужно идти ва-банк. Э-э, опять картежное словечко! Василий Николаевич чувствует себя, как позорно напроказивший мальчишка, как вор.

Учитель приблизился к окну, поздоровался.

— Скверно мы вчера провели время, право, скверно. Карты оставляют тяжелый осадок на душе, хотя и выиграл, а как будто оплеванный... Если бы на пароходе была подвешена кружка с надписью «на благотворительные цели» или там «погорельцам», сейчас бы спустил половину...

Лицо учителя просияло.

— Совершенно с вами согласен! Злая интеллигентская привычка. А потом миллион терзаний. Да я бы с удовольствием отдал проигранные деньги библиотеке, которую составляю, чтобы потом послать в деревню. Тьфу!

— Сделайте милость, вот половина. С радостью вкладываю ее в столь благородное начинание...

И до Царицына не сходили с палубы. Поговорили обо всем. Соколов же, мысленно прикинув оставшуюся в кармане сумму, убедился, что это как раз проигрыш попа и станового. Ну что ж, за их счет он не против несколько подновить свой обветшавший гардероб.

— Послушай, Александр, мне никогда не приходилось ставить типографии. Правда, с гектографом баловался. Но баловство и есть баловство. А ты как по этой части? Скажи, руки у тебя не чешутся, а?

Мирон разговаривал с Квятковским, сыном легендарного народовольца, повешенного Александром II.

Квятковский был представителем ЦК, но работал вместе с Соколовым на транспорте. Правда, в Самаре он обычно задерживался ненадолго.

— Нет, не чешутся. И только потому, что ставил и знаю, какие на это суммы потребны.

— Так мы же «контора» рентабельная. Сами себя содержим, да еще и для ЦК кое-что отваливаем. Имеем право на самые-самые малые остатки? Факт, имеем. Если еще немного поднакопить — глядишь, и хватит.

— Ну ладно, предположим, уговорил. А где взять машину, шрифт, людей, дом, наконец? Ты подумал об этом?

— Есть тут у меня кое-что и кое-кто на примете... Помнишь, рассказывал я тебе, как в Самару приехал. Тогда сразу же отправился в Пензу, на нее пришла литература. Так вот, в Пензе живет некий Смирнов. Я у него в квартире посылку и перепаковывал. Дядя он нашенский, но нервный, схватил шляпу и этак с дрожью: «Мне, — говорит, — все время кажется, что вот-вот накроют, слышатся шаги, шорох, звон шпор... Нет, — говорит, — увольте, не могу!.. И не понимаю, как вы можете?..» Не успел я ответить, он и был таков! Я уже перепаковал все, а хозяина нет и нет. Сходил за извозчиком, а квартиру-то открытой бросать нельзя. Наконец, вижу, бредет. И веселый, и звона шпор ему не слышится. Ну, думаю, нализался со страха. Оказывается, нет, просто нашел он мне квартиру для сортировки. В следующий приезд в Пензу я на этой квартире побывал. И правда, удобная, а хозяин, земский инженер Росель, — душа человек. Только конспирации не признает. В тот раз паковали у него в кабинете при незапертых

дверях. Весело!.. Смеялись на всю улицу. Вот этого-то Росселя недавно управляющим земской типографией в Пензе назначили. Ну как, Квятковский?

Квятковский уже забыл свои возражения. Загорелся.

— Значит, так. Для начала мы вводим в эту типографию своего человека. Он же «позаимствует» шрифт и прочие принадлежности. Для начала, для начала... И не перебивай. А потом мы уговорим Росселя продать нам старую машину...

— Вот-вот, я почти это же сказал ему. А он меня из ушата... «Кустарщина, — говорит, — мелочная воровская этика, игра свеч не стоит...» Я даже скис. Вот, думаю, болтнул лишнего, спугнул. Он увидел простоквашу на моей физиономии, сжалился. «Я, — говорит, — заказываю новую машину и любой шрифт у Лемана, получаю ее и переотправляю куда вам угодно!..»

— Здорово! А не хвастает? И уж что-то больно лихо — «переотправляю куда вам угодно!». Могут ведь и проследить.

— В Пензе вряд ли. В этом клоповнике опаснее конспирировать, лучше нахрапом.

— Постой, постой, ты только что спрашивал, не чешутся ли у меня руки. А сам уже договорился. И о машине, и о шрифте; может быть, и дом снял?

Квятковский был явно задет. Выходило, что Мирон как бы заранее знал о его согласии.

— Ладно, не обижайся. Конечно, я был уверен, что ты согласишься. А терять время не хотелось: когда-то я еще поеду в Пензу!

Недели через две из Пензы пришло известие, что заказ выполнен. Соколов и Квятковский мигом очутились у Росселя. Хозяин сиял как самовар и за чаем ви-

тийствовал по поводу излишней серьезности в серьезных делах.

Его жена, молоденькая, почти гимназисточка, слушала мужа затаив дыхание. В ее глазах он герой, и пусть только кто-нибудь усомнится... Она тоже почти героиня, ведь не кто иной, а она помогала Соколову паковать литературу. Значит, «достаточно скомпрометирована». Ей было и жутко и радостно. Но ее муж говорит просто замечательно!

Соколов и Квятковский посмеивались и спешили соглашаться с любыми доводами оратора. Когда Россель иссяк, Квятковский, сосредоточенно помешивая ложкой чай и глядя в стакан, начал «вправлять мозги» легкомысленному конспиратору.

— За покупку машины, конечно, благодарность наша самая что ни на есть величайшая. А вот в отношении конспирации по вашему рецепту — увольте. Лихость, она должна быть с расчетом, и более точным, чем осторожность. Вот, к примеру, расскажу вам один случай. Не спрашивайте, где, когда, с кем это было, но, поверьте, было... Купили наши товарищи через одного частного владельца типографии новую машину. Денег уйму ухлопали. Ну, пришла эта машина. Все чин чином, упакована в два здоровенных ящика. Клейма немецкие. Аккуратненько лежит себе на товарном складе. Наши товарищи — к хозяину типографии: так, мол, и так, машина на складе, вот квитанция на твое имя, поехали получать. А хозяин оказался прохвостом, кукиш им показал. Захотелось жулику за чужой счет обновить свою технику. Говорит, берите мою старую машину, а новую не отдам. И ведь знал, негодяй, что жаловаться на него в полицию не пойдут. Что тут делать? Думали, а времени в обрез. Вот и решили — украсть машину со

склада... У склада двое ворот было. Одни, что в глухой переулок выходили, всегда заперты, а напротив — городской. Вторые — на товарном дворе, стережет татарин-сторож. Прознали, значит, что сторож этот имеет обыкновение минут на сорок отлучаться поужинать, а всю ночь глаз не смыкает. Стало быть, за эти сорок минут и нужно украсть. Высмотрели — лежит машина у тех ворот, которые всегда закрыты... Опять незадача: не тянуть же ее через весь склад. Вот тут-то и действовали смело, но с точнейшим, я бы сказал, психологическим расчетом. Представьте себе дрянную улочку. Городовой умирает со скуки. Солнце уже село, но еще светло. Вдруг на улочку с грохотом въезжает подвода, на ней сидят двое и кучер. Ругаются на чем свет стоит, на всю улицу разносится брань. Подъехали к воротам склада. Городовой от сонной одури очнулся, глядит с интересом: никак сейчас подерутся. Тем временем к нему кучер: «Извиняюсь, — говорит, — нет ли прикурить, служивый?» Городовой ему папиросу сунул и даже спичку зажег. Вот этих-то секунд и хватило двум другим, чтобы сбить замок. Городовой видит, замок открыт, двери склада настежь, никто не прячется. Тот, что ругался, держит бумаги, сверяет номера у ящиков. Все как полагается. Вытащили один ящик, на подводу взвалили. Пошли за вторым. А второй тяжеленный, в нем станина была. Никак не справятся. Возница крихтел, крихтел да крикнул: «Слышь, служивый, подсоби!» Городовой с радостью. А ему — рубль на чай, совсем расплылся. Кланялся, кланялся, пока подводы и след простыл. А если бы подошел к складу и глянул на замок, болтающийся в проушинах, небось заверещал бы во все свистки...

Рассказ Квятковского получил неожиданное продолжение. Россель стал торопливо одеваться.

— Да куда же вы?
— На вокзал. Вот только ломовика найму..
— Стойте! Вам же не обязательно красть ящики!..
— Да я не красть... Ослепительная идея: в Пензе-то два вокзала. Мы получим машину на одном вокзале и, никуда не завозя, сдадим ее на другой прямым ходом до Самары.

Ничего не скажешь, голова у Росселя работает превосходно. А Соколов уже подумывает о том, где бы перепаковать ящик, который весит тридцать пудов.

Богомоллов все еще не верил, что ушел от полицейских. Да и не мудрено: ведь достаточно любому из них спросить документы, и он влип. У него абсолютно нет никаких бумаг, удостоверяющих личность: Ольга Варенцова настояла на их сожжении. Кончилась легальная жизнь В. Богомоллова. Теперь он никто. Хотя нет, он Маэстро. Кличка, конечно, громкая, но Маэстро боится и нос высунуть из каюты парохода. Хорошо, что она отдельная и посадка на пароход проходила ночью. Иначе его и не пустили бы на верхнюю палубу. Пальто изодрано, костюм только в темноте можно признать личным.

В Самару пароход придет ночью — это тоже хорошо. Лишь бы незаметно проскочить мимо полицейских на пристани. Правда, ночи уже холодные, но ничего, до утра он уж как-нибудь перебьется, а там товарищи помогут.

И дернула его нелегкая заняться устной агитацией! Тоже нашелся оратор... Пока выступают другие, особенно меньшевики, просто сил нет усидеть на месте, сто тысяч возражений роятся в голове. Но как только рез-

вые ноги выносят на трибуну... какая-то тарабарщина. Никаких мыслей, язык будто прилип к гортани...

...Как хочется пожевать чего-нибудь! На нижней палубе есть ночной буфет, но рисковать не стоит. Сон накормит.

К Самаре Богомоллов отоспался, но совершенно упал духом. Ему казалось, что Мирон и Квятковский, узнав о его провале, скажут, что нет у них работы для такого ротозея. А он уже и не представляет себе жизни без партийной работы, полной неожиданностей и опасных ситуаций, из которых нужно уметь быстро найти выход.

Пароход опаздывал. Занималось позднее осеннее утро с сырым туманом, когда наконец показался город. И еще долго шлепали по воде плицы, и капитан на мостике ругал кого-то простуженным голосом. Наконец перекинули трапы.

Так и есть! Двое полицейских и здоровенный уса́тый контролер. Три зубца одной вилки. Пропускают на берег пассажиров, внимательно оглядев каждого. Пока Маэстро лихорадочно придумывал, как бы ухитриться проскочить мимо церберов, нижняя палуба опустела. Из классных кают в Самаре сходят две старушки. У них большая корзина, вдвоем они ее едва-едва могут поднять.

Пальто — на руку так, чтобы оно прикрывало левую сторону протершихся брюк. Очаровательная улыбка:

— Простите, сударыни, но я не могу пройти мимо и не помочь...

Старушки опомниться не успели, а любезный спутник уже подхватил их корзинку, ловко зажал ее правой рукой и последовал к выходу.

Полицейским и в голову не пришло приглядеться к

внимательному «внуку», заботливо сопровождающему таких приятных бабушек.

А «внук» не отказался подвезти своих спутниц до дома, потом на том же извозчике к Арцыбушеву — это был единственный адрес, который дала ему Варенцова.

Арцыбушев удивленно посмотрел на посетителя и уже собрался было выставить его из кабинета...

— Скажите, как мне обнаружить затерявшуюся цистерну? Ее номер восемнадцатый.

Э, да это пароль явки! Ответа не требуется.

— Садитесь! — Арцыбушев вскочил с кресла, чуть ли не силой втолкнул в него посетителя...

У Арцыбушева Богомоллов получил адрес квартиры Мирона.

У Соколова сидел Квятковский. Он уже собирался уходить, когда в дверь робко постучал Маэстро.

Квятковский с удивлением и даже с тревогой взглянул на Соколова: с какой стати Мирон дает адрес какому-то бродяге? Но Соколов дружески поздоровался и, обернувшись к Квятковскому, представил:

— Это и есть тот астраханский Маэстро, о котором я тебе говорил. Видик, правда, мало соответствует громкой кличке. Но это дело поправимое.

Целый вечер Маэстро рассказывал о себе, своих скитаниях по Дальнему Востоку, Америке, встречах с охотниками, золотоискателями и даже бандитами.

Соколову явно нравился этот человек. Решительный и смелый. Такие на транспорте нелегальной литературы незаменимы.

Когда Маэстро кончил, Квятковский встал, подошел к вешалке, снял свое добротное английское пальто:

— А ну примеряйте! Думаю, подойдет.

Богомоллов начал было отказываться, но Соколов прочел ему нотацию о внешнем виде транспортеров и их отношении к окружающему миру. Богомоллов понял, что его судьба решена: быть ему на транспорте. Сразу повеселел. Это тебе не ораторствовать — тут нужна ловкость, изворотливость, ну и отвага, конечно.

Был он человек скромный, об отваге помалкивал, да и проявить-то ее ему пока еще не пришлось, разве что во время встречи с американскими бродягами, когда в ответ на угрозу ножом он спокойно вытащил револьвер и, почти не целясь, выбил пулей нож из рук бандита. Это привело их в восторг. Расстались почти друзьями...

Через пару дней Богомоллов уже щеголял в новом костюме и даже успел обворожить хозяйку своей квартиры.

Навигация на Волге закрылась. Для транспорта литературы это причиняло некоторые неудобства. В поездах нет отдельных купе, да притом коммивояжеры, под видом которых действовали транспортеры, обычно разъезжали третьим и лишь иногда вторым классом. В поездах всегда найдутся любопытные, от безделья даже молчаливники становятся болтунами, и никуда от них не скроешься.

Пришлось большую часть грузов доверять багажным отделениям, переправлять малой скоростью.

Иногда случались казусы.

— Там тебя какой-то хохол дожидается, забавный... — Елена Дальяновна еще не освоилась с ролью жены Соколова. Зато секретарские свои обязанности по техническому бюро знала хорошо и давно.

— А кто этого веселого хохла привел к нам на квартиру?

— Квятковский. Да ты не беспокойся, уже позаботилась. Он из Воронежа, его Кардашев прислал.

В передней комнате сидел молодой человек. На нем поддевка, которую он так и не снял. Волосы на прямой пробор, косоворотка расшита по черному фону какими-то красными узорами. А на ногах не сапоги, а штиблеты. И они так не подходят к поддевке и косоворотке... да и к самарской осенней грязи тоже.

— Иван Павлович Коваленко!

Соколова фамилия не интересовала. Если это свой человек, то фамилия, наверное, вымышленная или сфабрикована по чьей-нибудь паспортной копии. Гораздо важнее пароль и степени доверия.

— Чему могу служить?

— «Битва русских с кабардинцами...»

— «...или прекрасная магомётанка...» Ладно, а то опять душит смех.

Коваленко не смеялся. Соколов понял, что продолжать выпрашивать у него вторую степень не имеет смысла. Посетителю открыта только первая.

Присели. Коваленко разделся, разговорился. Он оказался умным, веселым, ехидным собеседником. У него жена, двое детей, валик, шрифт...

— Стойте, стойте, какой валик? И при чем тут дети?

— А это я перечисляю все хозяйство, которое вывез из Воронежа, да вот вы меня перебили... Я ведь и наборщика привез. Наша техника в Воронеже чуть не провалилась, пришлось спешно пускаться в бега...

Ну везет, право, везет! Машина из Пензы благополучно прибыла в Самару и лежит теперь на складе, которым ведает свой человек. А заведующего типографи-

ей нет, наборщиков тоже, помещение не снято. И вдруг такой подарок.

Быстро договорились. Коваленко снимает дом, сообщает соседям, что с нового года собирается открыть мелочную лавку. Оборудует типографию.

Коваленко был человеком деятельным. В переулке рядом с тихой Москательной улицей он присмотрел деревянный домик. Четыре окна на улицу, одно — в глухой двор. И парадный ход есть, хоть и ветхий.

— Парадный обязательно, — пояснил Коваленко, — иначе какая лавочка? А так я тут потолковал с соседями — одобряют...

— Вы все же поосторожнее с соседями...

— Помилуйте, ведь то мое призвание: по душам поговорить с человеком, душу ему открыть, в ее уголок заглянуть... И вот никаких подозрений, и... наше вам-с, господину покупателю, сорок одно с кисточкой...

Соколов подивился: ну и ну, чешет, как заправский приказчик. Такой с прибауткой товары всучит покупателю, которые тот и не собирался приобретать. Василий Николаевич заметил, что жена Ивана Павловича улыбается балагурству мужа. И эта улыбка вдруг успокоила Соколова. Но он все же не преминул спросить ее:

— Вы тоже так думаете?

— Он, як налим, извернется — и не заметишь. Было такое в Воронеже — только, значит, разложили на столе типографские игрушки, полицейский заходит. Иван-то мой ему, как родному, обрадовался. «Миляга, — кричит, — друг!» И раздевает фараона, а сам от него стол загораживает, суетится. Фараон очумел, ничего не соображает. Тем временем я успела на стол скатерть набросить и прямо на печатню самовар взгромоздила. А самовар-то холодный... Мой-то распетушился.

«Разогрей!» — кричит. А я думаю, как выпроводить их. Притворилась, что разозлилась, да как отрежу: мол, и без вас делов хватает, трактиры для бездельников имеются. Ну и выкатились как миленькие. Домой-то вернулось малость того!..

— А вот и не того. Только пивца хлебнул, зато фараона споил. Ну ладно, ладно, хватит вспоминать. Небось сейчас тот же полицейский волосы на себе рвет: упустил, недоглядел... Лучше пойдемте, я вам помещение покажу да как все уладили.

Соколов обходил комнату за комнатой. Особенно придирчиво осмотрел ту, в которой окно во двор. Коваленко все предусмотрел: щели забиты, двери обтянуты войлоком. Окно закрывалось специальным щитком.

Пустили бостонку. Соколов вышел в соседнюю комнату. Прислушался — ни звука. Зашел со двора — тоже ничего. Что ж, можно и начинать!

Типография заработала, и сразу же появились новые заботы. Как доставлять бумагу, как и куда свозить готовую продукцию? Соколов и Квятковский не хотели, чтобы, кроме них, еще кто-либо знал о существовании типографии, даже Арцыбушеву не сказали. Но у него чутье было редкое. И как он пронюхал, одному богу известно. Обиделся, конечно, несколько дней дулся.

Потом как-то подошел к Соколову и выпалил:

— Боитесь, что я покажусь на улице, где вы типографию сховали, думаете, на след наведу, ведь меня в Самаре всяк полицейский знает? Черти полосатые, если уж на то пошло, я теперь не знаю, по каким улицам мне не следует ходить!..

Хитер, милейший и добрейший Василий Петрович, но Соколов отделался общими фразами о любви и дове-

рии. О нем же заботился — сам влипнет и типографию провалит.

И все же пришлось ввести в типографию еще одну супружескую пару. Квартира у них удобнейшая, здесь можно было хранить продукцию, отпечатанную типографией. Жили они скромно, тихо. Кому в голову придет, что глава дома социал-демократ... Кажется так: пожилой мещанин, и жена у него мещаночка...

А жена, Мария Ильинична, взялась за роль прачки. На саночках возила в домик чистое белье, брала в стирку грязное. А под бельем укладывала бумагу, привозила прокламации, прятала в квартире, в дровяном сарае. Один раз чуть было не попала с этим сараем. Да сошло, соседка оказалась недогадлива.

Привезла Мария Ильинична и первую брошюру — листовку «Хроника Восточного бюро РСДРП» — пятьсот экземпляров. Соколов чуть ли не плясать пустился, увидев ее, и Квятковский сиял:

— Ну кто скажет, что самоделка? Печать-то какая — любо-дорого!

— Скорей ее по заводам, в железнодорожные мастерские, на пристань.

— Э, нет, не торопись, братец. В Самаре мы пока распространять не будем, сначала разбросаем где-нибудь подальше, хотя бы в Пензе.

Василий Николаевич был не на шутку встревожен известиями из Саратова. «Заграница» прислала багажом на этот город большую корзину литературы. Зарубежные товарищи предупредили, что груз плохо упакован и его нужно как можно скорее получить.

А в Саратове почему-то не торопились. На станции

чиновники заметили повреждение упаковки и вскрыли корзину, там — литература. Для дознания передали железнодорожным жандармам.

Об этом неприятном происшествии и сообщал Абалдуев, ветеринар на саратовской бойне и один из руководителей местной социал-демократии.

Корзину нужно выручать. А вот как это сделать? Богомоллов не знал, но был уверен, что сумеет.

Соколову ничего не оставалось, как согласиться. Больше послать было некого.

Соколов в последние дни не находил себе места. Из Саратова давно должны были поступить известия, а Богомоллов молчит. В конце концов черт с ней, с корзиной, хоть и жалко терять литературу, но люди дороже. А что, если Маэстро попался? Молодой и неопытный, он может сболтнуть или просто проговориться. К тому же человек он горячий, при аресте так просто жандармам в руки не дастся, откроет стрельбу. А время для револьверов еще не пришло. Обвинят Богомоллова в анархизме, свяжут террористические действия с партией, которая против индивидуального террора... И...

Эти дни ожидания, дни невольной паузы на транспорте стали для Соколова и днями размышлений. Раньше все как-то некогда было. А может быть, встреча с Богомолловым натолкнула на новые мысли?

Вот такие, как Маэстро, не прошли сколько-нибудь серьезной школы политического, революционного воспитания. А кто виноват? Он, Соколов, виноват. Гоняет Богомоллова из конца в конец, да еще поругивает за лихость. А парень тянется к серьезной революционной учебе. Сколько раз Соколов замечал: привезет Маэстро

очередную партию литературы, начнет ее сортировать — ну и пропал. Не столько сортирует, сколько читает. Да еще с оглядкой — боится, чтобы не отругали за задержку...

Но где же Маэстро? Где?

Соколов ловит себя на мысли, что нервы у него начинают сдавать. И почему ему все рисуется в черных красках? Ведь если бы Богомоллов попался, Абалдуев обязательно известил бы.

Саратов молчит.

Прошло десять дней. И вдруг открытка: «Здоровьем поправился выезжаю привет».

А еще через день явился и сам Богомоллов. Веселый, здоровый, немного похудевший и страшно голодный. Он почему-то всегда голодный и готов есть хоть целый день. Соколову не терпелось обо всем расспросить Маэстро. Но пока тот не насытился, из него нельзя было вытянуть ни единого слова.

— Так все-таки, как же тебе удалось жандармов из дежурки выманить?

— Да просто... Сговорился с железнодорожными рабочими, чтоб те на запасных путях стрельбу подняли из револьверов, да еще и петарды подорвали... Ну, жандармы на это «жаркое» и клюнули. Побежали, а рабочих-то и след простыл. Мы дверцу плечиком — и на лихача... А корзину я Абалдуеву на память оставил...

— Ну и черт! Нет, право, ты, брат, не Маэстро, а самый настоящий черт! Так впредь и величаться будешь!

До отхода поезда остается какой-нибудь час, а Мнрона все нет и нет. И ведь сам учил аккуратности и точности.

Черт не успел перечислить до конца всех грехов Василия Николаевича, когда в передней раздался звонок.

— Прости, задержали...

— Давай, а то опоздаю!

Богомоллов засунул в чемодан несколько пачек листовок, еще сырых, мажущихся типографской краской.

— Я лечу...

— Ну, как говорят порядочные, с богом...

— Ты же сам прозвал меня Чертом, уж какой тут бог!

Богомоллову повезло: за углом стоял извозчик. Когда приехали на вокзал, до отхода поезда оставалось десять минут.

Билетов во второй класс не было, на первый не хватало денег. Значит, он едет третьим.

На улице холодно. И ни души. Даже городовые спрятались. Пока ехал от вокзала к центру, замерз окончательно. На главной улице тоже пусто.

Богомоллов выбросил первую партию листовок. Ветер подхватил их, понес. Лишь бы извозчик не заметил. Да где ему, зарылся в высоченный бараний воротник, только нос наружу. Лошадь и сама дорогу знает.

Богомоллов осмелел и стал разбрасывать листовки направо и налево. Кончилась улица, сани запрыгали на снежных ухабах.

— Давай к гостинице!

Заспанный портье никак не мог понять, какого дьявола этот господин его разбудил. Помещик Старченко у них в гостинице не проживает...

Богомоллов хлопнул дверью. Старченко он, конечно, выдумал. И в гостиницу заехал только затем, чтобы от-

делаться от извозчика. Правда, не очень-то весело шагать по такой погоде до вокзала, но ничего, у него еще остались «летучки»...

Богомоллов рассовывал прокламации в почтовые ящики. Клад с выбором, предварительно узнавая, кому они попадут. Земским статистикам — обязательно, адвокатам — тоже, учителям — можно, врачам — если останутся. Жаль, в Пензе нет фабричных окраин, он бы не пожалел ни времени, ни сил. А так куда девать последние десять?

Богомоллов решил бросить их на базарной площади, недалеко от вокзала.

Вот и окончена операция. Всего каких-нибудь полтора часа потребовалось. Зато завтра сонная Пенза зашущукается, заахнет. Полицейские власти будут гонять своих доморощенных, пропахших огуречным рассолом филеров. В Петербург полетит реляция об «обнаружении»... Из столицы грозно рывкнут — «пресечь»...

Богомоллов уже не жалел, что ему досталось такое простенькое задание.

Шуму будет достаточно.

Вон и площадь. Но на углу у подъезда какого-то присутственного дома торчит городской. И не замерз, как остальные. Притоптывает себе валенками.

Когда Богомоллов приблизился к постовому, тот вдруг отчаянно замахал руками, затопал, потом громко прочистил нос и бегом к подъезду. Черт от неожиданности даже остановился. Тыфу, фараон скаженный, спал бы себе!

Интересно, что он тут охраняет?

Богомоллов подошел вплотную к подъезду. В темноте едва разобрал: «Губернское жандармское управление».

Вон оно что! Да, тут спать не рекомендуется, свое же начальство застучает...

Заглянул в подъезд — никого. Городовой, видно, прошел внутрь дома.

А что, если...

Дверь открылась, слегка проскрипев замерзшими петлями. В вестибюле пусто.

Быстро выбросил последнюю пачку на пол — и до свидания...

...Как сладостно греться обжигающим чаем в ночном буфете вокзала! Пахнет хлебом, паровозным дымом и морозом. У мороза самый сильный запах.

Богомоллов был настроен благодушно, пытался даже припомнить кое-какие латинские изречения, но тщетно, гимназическая премудрость никогда не была с ним в дружбе.

К перрону подходит экспресс. Он только притормозит, ему некогда...

Но Богомоллов уже ухватился за поручни вагона.

Вот ведь какая неудача, вагон-то оказался рестораном! А с площадки грозно топорщит усы проводник.

Ладно, в кармане завалилось еще несколько рублей. Усы раздвигает угодливая улыбка.

В вагоне-ресторане тепло. До Самары можно спать и сидя.

Эту последнюю встречу им подготовили жандармы.

И она состоялась в Киеве, куда уехал Володя с надеждой продолжить учебу. Но он так никуда и не поступил. Кровавое воскресенье в Питере всколыхнуло всю Россию.

Революция 1905 года начала отсчет дней.

Круто повернулась тактика большевиков. Забастовки, стачки, манифестации — все это хорошо. Но разве они могут свалить царизм? Нет. Только вооруженное восстание принесет победу.

Старыми транспортными путями, по которым шла литература, потек новый груз. Вот и сегодня Володя везет необычную поклажу. В специальном жилете, надетом под пиджак, — десятки ячеек, как пчелиные соты. В них капсулы, начиненные не медом, а гремучей ртутью. Вот уже сутки Володя не спит, сидит на полке вагона, боясь прикоснуться спиной к стене. Достаточно одного толчка, и... Если и эта поездка закончится благополучно, его обещали направить в киевскую школу-мастерскую учиться делать взрывчатые вещества, бомбы.

Как обидно, что в гимназии он совсем не обращал внимания на естественные науки! Теперь бы они пригодились. Гимназия, академия — как давно это было!.. И каждый день сытный обед, чистая постель, краски... И, конечно, он бы сказал неправду, что ему ничего этого не нужно, что он отвык и не собирается вновь привыкать к обеспеченной жизни.

Нет, он не отвык, просто притерпелся, понял, что есть вещи, куда более важные. Ну хотя бы капсули. Может быть, он везет их для бомб, которые через несколько дней сам же будет делать в мастерской?

Дня через два Володя уже сидел в маленьком домике школы-мастерской по изготовлению взрывчатки.

В окно видны огороды. Куда ни глянешь — грядки, грядки... Да и сам домик — жилье студентов-практикантов, сельскохозяйственников. Вон они копаются со своими огурцами и капустой, а заодно поглядывают по сторонам.

Мастерская оборудована крайне примитивно. Чтобы это понять, не нужно быть химиком. Ученики собрались лихие. Сложнейшие реакции для получения нитроглицерина или гремучей ртути ставят «на глазок».

Руководитель школы, настоящий химик, в бешенство приходит. Ничего, все пока идет благополучно. Дней пять слушали теорию, потом столько же делали бомбу. Когда она была готова, поехали за город, в лес, испытывать. Нашли пригорок, а под ним овраг, поросший деревьями. Кругом тишина. И смолой пахнет. Красота! После химических реактивов никак не надышишься.

Бомба тяжелая, фунтов этак на восемь. Кинули... Бомба зацепилась за дерево да как рванет!

Взрыв был такой сильный, что всех разметало в

разные стороны, разворотило несколько деревьев. Неплохо!

Когда вернулись в Киев, выяснилось, что занятия нужно хотя бы временно прекратить. Студенты на огородах заметили каких-то подозрительных людей.

В мастерскую больше не заходили. Через несколько дней кое-кто из учеников уехал в Петербург, некоторые на Урал. Володя остался в Киеве.

Не следовало ходить на квартиру Рудановского. Ведь Соколова предупредили, что тюк с литературой выследили, дом под наблюдением. Странно! Целый вечер его жена Елена с курсистками спокойно убирала квартиру, и никто их не задержал. А вот как только он явился — пожалуйста, голубые мундиры!..

Сцапали, а тут еще этот отвратительный шпик в Бульварном полицейском участке. Если бы не он, то, наверное, выкрутился. Нужно было незаметно сбыть собственноручно составленный список изданий этого злополучного тюка.

Пока сидел в околотке, заговаривал своего стража, список из жилетного кармана незаметно извлек и под валик дивана запихнул. А тут, как назло, этот «паук» уселся на диван, что-то околоточному говорит, а сам так по дивану руками и елозит... Ну и вытолкнул список.

Теперь камера полицейского участка.

А в окно светит утреннее солнце, и на соседнем дворе бегают с веселым лаем собаки, какие-то люди свободно бредут, не обращая внимания на застенки.

Соколов тоскливо разглядывает полицейский двор.

Высокий забор, а за ним воля... У забора навалена куча бревен.

День тянется бесконечно.

— В окно глядеть, господин, нельзя!

На бревнах, потягивая здоровенную козью ножку, сидит обленившийся городаш, рядом прогуливается какой-то помятый тип.

— Пока не запретили, можно.

— Этак-то разве...

И опять нудный, черепаший ход времени. А на бревнах все тот же городской, зато прогуливается новый субъект.

Наверное, и его вызовут. В голове какая-то вялость. Мысли все те же. Вспомнился почему-то Смоленск. А почему вспомнил? Вероятно, потому, что тогда где-то на окраине Смоленска уселся, обессиленный, на такие же вот бревна и сидел без мыслей, даже не чувствуя свинцовый хомут на шее.

Бревна, бревна... Они были и в Костроме на пожарном дворе, где он родился. Там были и городовые...

У киевского городского какая-то белая рубаха не первой свежести.

Но почему из головы не выходят бревна?

— Гулять пойдете?

— Да, да, обязательно.

Он ничего еще не успел решить, но теперь уже понял, что все время думал о бревнах только потому, что на них можно вскочить, оттолкнуться, как от трамплина, схватиться за край забора и перевалиться туда, на вольный двор, где уже уgomонились веселые собаки.

Пальто, шапка. На дворе не один, а двое городских. Они стоят друг к другу лицом на расстоянии десяти ша-

гов, как дуэлянты у барьеров. Десять шагов туда, десять обратно, не замечая городских. Нужно унять сердце, собраться. Он должен проскочить между стражами пульей. И пока дойдет до их сознания, вызовет ответную реакцию — успеть оттолкнуться от бревен и схватиться за забор.

Прыжок — нога оступилась на округлости бревна. По-солдатски, как берут заборы в военных городках, потом ноги через забор...

Пальто?.. Оно осталось по ту сторону, и в него уже вцепились городовые. Они причитают, как бабы:

— Батюшки, родимые, убеги...

Пусть орут. Руки из рукавов вон. Тяжелое падение. Шляпа катится куда-то в сторону. А городовые уже на заборе.

Через двор, в ворота, на улицу... Полный ход!

— Задержите-е! Арестованный убе-ег!..

По Безаковской — к вокзалу!

Какой-то карапуз не успел увернуться...

Квартал, другой. В груди острая боль, ноги подламываются. А впереди уже бегут наперерез люди с растопыренными руками.

Во двор... Кубарем с лестницы — подвал пекарни. Темный коридор и огромный чан...

— Выходите!..

Обратный путь — лежа в пролетке. Голова свернута жандармской лапищей набок. Трудно дышать, а кричать и подавно невозможно.

Со стороны кажется — везут пьяного.

— Ну и налакался же!..

На сей раз привезли не в участок, а в киевскую тюрьму «Лукияновку».

«Лукияновка»! Пожалуй, в предреволюционные годы

не было более известной тюрьмы. Соколов только понаслышке знал о фантастическом побеге отсюда десяти искровцев. Теперь, попав в «Лукияновку», Мирон первым делом подумал о побеге. Именно теперь, сегодня, ведь он так нужен партии! В России революция на полном ходу.

Ошеломило грозное, но радостное известие о восстании на броненосце «Потемкин», об уличных боях в городе Лодзи.

Товарищи с воли советуют проситься под залог, гарантируют деньги.

В киевском жандармском управлении делами Василия Николаевича занимался старый, обиженный в чинопроизводстве подполковник. Он не против того, чтобы выпустить Соколова под залог, но ведь, помимо киевских дел, за ним числятся и псковские...

А тамошние жандармы настаивают на тюрьме.

Подполковник, чтобы показать свое добродушие и полное сочувствие, что-то пишет на бумаге, потом подает Мирону. Тот с удивлением читает — расписка в освобождении под особый надзор полиции!

Ужели правда?

— Подписывайте, батенька!

Подписывал с радостью, с замиранием сердца.

— А теперь вот эту бумажку...

Это была бумага о заключении под стражу по псковскому делу! Не сходя со стула, Соколов вышел из тюрьмы и снова сел в нее.

Значит, бежать! Бежать! Эта мысль помогала коротать время...

Ночью камера спит тяжелым сном. Душно, а окон не откроешь. В коридоре гремят кованые сапоги, приклады бьют о каменный пол.

Привели новенького. Но огня не зажигают. Соколов, разбуженный, долго ворочается, потом засыпает. Утром болит голова, и Василий Николаевич никак не может понять, где он и почему рядом сидит Володя...

Вчера его в камере не было.

Володя как-то растерянно улыбается. Он еще не опомнился от ареста. Внезапно, на улице. Втолкнули в карету, потом без всякого допроса сюда, в камеру. Кто его проследил, выдал? И что известно о нем жандармам?

— Ну, вот и снова свиделись!..

Мирон пытается шутить. Но получается это у него плохо. В камере, где находится еще около десяти заключенных, много не поговоришь.

Вполне возможно, что к ним подсадили «уши».

Соколова вызывают на допрос.

Киевское лето в разгаре. Из окон жандармского управления видно, как толпятся каштаны на улицах, серебрятся тополя. И синее-синее небо над городом.

Окно выходит в какой-то двор. Под окном, сажени на полторы ниже, крыша дома.

А ведь эта крыша тоже всего на сажень возвышается над другой, деревянной, видимо сарая. Сарай же и вовсе смотрит в землю...

А что, если выпрыгнуть из окна четвертого этажа сначала на крышу дома, с него на сарай, соскочить же с сарая — сущий пустяк.

Три прыжка — и на земле, на воле...

Вряд ли жандармы рискнут тоже прыгать. Побегут по лестнице, а тем временем он замешается на улице в толпе.

Нужно только запастись фуражкой. Прыгать он бу-

дет в шляпе, а при выходе на улицу бросит шляпу, наденет фуражку. И ищи его...

План, конечно, примитивный, но дерзкий. Но, может быть, это и к лучшему.

Теперь до следующего вызова, и не позже...

Соколов ночью шепотом рассказал Володе о своем плане. Володя сначала ужаснулся, но потом согласился, что так, наверное, лучше. Кепка у него есть — жокейка, правда, но это неважно.

Володя восхищался смелостью Соколова. Может быть, и он рискнул бы прыгать с крыши на крышу. Нет, не рискнул — ведь с детства высоты боится. А тут четвертый этаж... А потом, о Володе жандармы словно забыли, никуда не возят.

Соколова вызвали на следующий день. Он не торопясь оделся, оглядел камеру. Когда жандарм отвернулся, сунул жокейку под жилет.

Снова приемная. Жандармский унтер что-то очень предупредителен. Стул предложил.

— Благодарю вас! Сажу уже месяцы!

Жандарм смеется.

Соколов подходит к окну. Унтер, чтобы ему было удобнее вести беседу, усаживается на подоконнике. Этого еще не доставало! Придется схватить за ноги и перекувырнуть в окно...

Василий Николаевич оглядывается.

Никого. Надо решаться.

Сзади скрипит дверь... Соколов оборачивается.

— Ну, батенька, поздравляю вас! Псков согласился. Вы свободны!

— Сейчас? Совсем?

— Сейчас, сейчас. Не совсем, конечно, а под особый... Вот распишитесь — и на все четыре...

Через полчаса Соколов шагает по улице. Он свободен! Он может коснуться рукой листьев каштанов, при-
тронуться к цветам на газоне — ему так хочется их при-
ласкать, вдохнуть их аромат! Но ему больно нагнуться...

Жокейская фуражка! Она напомнила о «Лукьянов-
ке», Володе. Жокейка раньше своего владельца вышла
на волю.

Но Мирон знает теперь — революция выпустит всех!
И может быть, они снова встретятся!

Вот ведь говорят бывалые подпольщики, что тюрьмы — это университеты, люди твердой воли умеют и в застенке идти в ногу со временем, учиться и учиться. Это, наверное, так, даже наверняка так, но только для мирного времени, а в годы революции вся жизнь идет иными шагами.

Казалось, просидел в «Лукияновке» не так уж долго, а отстал от событий, словно из макаркиной глухомани появился.

Когда-то был и Смоленск и Самара. Было и транспортно-техническое бюро ЦК. И забот был полон рот. Ни минуты покоя. А о чем тогда заботились? Собирали партию, налаживали связи. И больше всего думали о том, как бы поконспиративней обставить свои дела. А дел столько, что за ними иногда и будущего не видели. Ведь тогда у партии еще не было армии рабочих, она только начинала формироваться. Училась, можно сказать, шагистике. Стачки, забастовки. И если уж сравнивать с армией, то все это напоминало маневр. В тех условиях их транспортно-техническое бюро было неплохим интендантством.

А теперь? О каких маневрах может быть речь? Идет настоящая война. И партия располагает не отдельными отрядами — кружками, ячейками, нет, у нее армия рабочих: полки — заводы, дивизии — города. Они вышли на улицы. Они завоевывают площади. И они нуждаются в оружии, чтобы идти в бой, им нужен штаб, который умел бы руководить не маневрами, а войной, кровопролитной, с победами и поражениями, атаками и ретирадами.

Да, времена изменились. А вот их интендантство, то бишь технический штаб ЦК, — транспортная контора?..

При первом же знакомстве с делами Соколов убедился — нет, интендантство все то же. Оно не перестроилось согласно велению времени.

И забилося к тому же в дыру. У этой дыры громкое имя — Орел. Вот уж действительно кто-то посмеялся. Не город, а яма. Стоит на обочине в прямом и переносном смысле. Живет воспоминаниями прошлого: де, мол, Орловщина — заповедник, гнездо великих писателей.

А ныне знаменито это гнездовье только своей тюрьмой. Орловский централ прославился жестокостью на всю жестокую царскую Россию. И вряд ли есть еще один такой застенок.

С точки зрения перспектив, у Орла никаких шансов на полет. В общем не орел, а побитое молью облезлое чучело.

В Орле старый друг по Смоленску — Голубков. Отличнейшие явки, налаженное паспортное бюро, обширные связи с провинцией. А жизнь все равно идет мимо. И «лавочку» в Орле надо как можно скорее прикрыть, а вернее — перенести в другое место, поближе к эпицентру революционных потрясений.

В этой мысли друзья утвердились после свидания с Авелем Енукидзе, заглянувшим в Орел проездом из Питера. Апель полон радужных надежд. Радужные, конечно, от темперамента.

Орел Апель обозвал «протухшим дырявым бурдюком». Техническое бюро ЦК напоминает Енукидзе «ночлежку для слепых и глухонемых», явочные квартиры — «исповедальни под обломками рухнувших храмов».

Сравнения цветистые, тем более что Апель пересыпает их грузинскими междометиями. Слушать его спокойно просто невозможно.

Но и он конспирирует. Из Енукидзе едва выпытали, что «Нина», та самая прямо-таки легендарная типография ЦК, переводится из Баку в Питер и будет работать легально. В Москве и столице создаются легальные большевистские издательства.

В общем, куча новостей. И право, теперь уже кажется, что орловские пенаты и впрямь несколько папахивают...

Вечером перед отъездом Енукидзе сменил гнев на милость. Даже этого повывавшего виды подпольщика поразило, с какой легкостью Голубков добыл для него билеты на скорый, отдельное купе. И Апель сам видел, как начальник станции шаркнул ножкой перед Голубковым.

— В Питере у меня встреча была, не поверите, с Лениным. Письма Ленина читал. Статьи Ленина печатал. Книги Ленина тоже печатал. А вот увидел его только сейчас. Никитич познакомил. А Ленин мне руку пожал, рассматривает. Что-то говорил, наверное. А я, понимаешь, не расслышал. Народу много, все галдят. У них там, понимаешь, заседание. Ленин меня

в сторонку отвел, спрашивает мнение, нужно ли с меньшевиками объединяться «ухо в ухо». А я ему по-кавказски ответил. Доволен остался. Просил скорее типографию переводить, а машину как знаю... на месте смотреть.

— Это как же — типографию переводить, а машину нет? Вы что же дом, что ли, или там у вас не дом, а конюшня? Слыхали мы кое-что о вашем помещении...

— Зачем конюшня? Людей отправлю. Машина тяжелая. Поезда сам знаешь, как ходят. А водой поздно.

Соколов подумал, что, пожалуй, Авель прав. Если в Питере будут легально выходить большевистские издания, то и легальная типография, да и не с такими машинами, найдется.

Едва проводили Авеля, сели чаи гонять на квартире адвоката Переверзева — телеграмма: «Дело Мирона слушается на днях необходим выезд Москву Зимин».

Значит, о них все же вспомнили.

Переверзев, конечно, ничего не понимает, роется в каких-то газетах, ведомостях, упрекает за то, что его, адвоката, да с таким именем, не пригласили, чтобы защищать Мирона.

Соколов втихомолку посмеивается. Знал бы этот адвокатик, о каком процессе речь идет. Зимин — это Красин, и никакого процесса, попросту нужно немедленно собираться и ехать в Москву.

Голубков опечален, ему тоже хочется в первопрестольную. Ведь это его родина, и там уймища друзей, знакомых, и, что главное, он там может разжиться деньгами. Касса-то пуста.

Договорились, что, как только вернется Соколов, Голубков немедля двинет в Москву, прихватит с собой

паспортную технику, в общем, положит начало «великому переселению».

Но переселение затянулось, хотя Никитич при свидании требовал скорее развернуть большое «комиссионное дело», создавать в столице «большой торговый центр», «склады», добывать «новые образцы товаров». Разговаривали, сидя в лихаче, а у извозчика, известно, уши всегда на затылке.

Соколову предстояло взять на себя заведование паспортными делами Московского комитета, развернуть типографию в специально снятом для этого «Магазине кавказских фруктов» на Лесной, а главное — всеми средствами добывать оружие, организовывать склады, где его можно хранить до времени.

А время наступало грозное. Мирон это почувствовал на себе. Вынужденный ненадолго съездить в Самару, он застрял на обратном пути. Железнодорожники баствовали.

Поезд остановился в Пензе, да так и примерз к платформе. Поездная бригада в полном составе проследовала на митинг в депо. А этот митинг, как удалось выяснить Мирону, длится уже несколько дней, с перерывами на обед и на краткий сон. Сунулся было в депо — куда там! Заправляют эсеры, никого постороннего не пускают.

Проходит день. Проходит второй. В вокзальной кассе застрявшим пассажирам выплачивают суточные. Конечно, тем, кто едет мягкими вагонами. Мирон в мягком и, так как нужно скоротать время, отстаивает очереди за суточными. В купе холодно ночами, придется кутаться во что попало. Попутчики изрядно надоели друг другу, но стараются быть вежливыми. И только врач — офицер, следующий на побывку с

Дальнего Востока, нервничает, ведь дни у него наперечет. Ругается. И пытается выбраться из опостылевшей Пензы.

На шестые сутки офицер сговорился с комендантом военного эшелона, прихватил с собой и Соколова.

Они въезжали в Москву 18 октября.

Улицы пестрели расклеенными текстами царского манифеста.

Толпы людей теснились у афишных тумб. Кто-то от умиления плакал. Большинство недоверчиво улыбалось. В адрес царя сыпались и нецензурные словечки.

В университете, около памятника Ломоносову, непрерывные митинги.

После орловского болота, после осточертевшей Пензы Москва кажется обетованным городом. Она радует и тревожит. Она напоминает, что в России революция. И надо браться за дело.

— Мирон, честное слово, Мирон! И провалиться мне на этом месте!..

— А разве тебя, хвостато-рогатое превосходительство, не предупредили?

— О чем? О том, что я поступаю под начало Мирона? Предупредили. Но я решил, что это кто-то другой. Уж больно тот, которого я знал по Самаре, был придирой и брюзгой...

— Я вот тебе сейчас такого придиру...

Соколов поперхнулся. В объятьях Богомоллова не до ругани, вздохнуть бы! Богомоллов наконец разжал руки.

— Ну, а теперь проваливайся...

— Куда прикажете?

— В преисподнюю, куда же еще чертям надлежит?

— Слухаю! Позвольте адресочек.

— Пожалуйста. Лесная улица, «Магазин кавказских фруктов».

— Недурно, особенно если в этом чистилище водятся кавказские вина, свежие шашлыки и непременно сулугуни. О сулугуни!..

— Ишь ты, чертяка, слюни распустил! Шашлыков не будет. Вина не будет. Будет кишмиш, будут грецкие орехи. Будет кисель из типографской краски! Кисель будет...

— Типография! А я-то думал!..

— Что, не нравится? Сатане подавайте бомбы? А может, пушку захотел? Отставить. Снова нужно под пол забираться. Скажешь — не привыкать? Нет, братец, привыкать. Не воображай, что в подполье все пойдет по-прежнему. Нет, батенька, хлебнувши хоть толику свежего воздуха, ты в подполье начнешь сразу же задыхаться. То, что еще год назад казалось нам конспиративным привольем, теперь будет напоминать тюремную камеру. Право, поверь, сейчас труднее будет.

Богомоллов молчал. Да о чем и говорить? Конечно, выходили из подполья с песней, верили, что с ним покончено навсегда. Обратно с песней не полезешь. Тем более, казалось, и надобности в этом нет. Оказывается, есть. Но в новом подполье негоже работать по-старому. Нужны новые навыки и новый, более широкий размах. Как-никак, а на дворе-то пока еще революция. Она в самом разгаре. И как-то не хочется думать о возможном поражении. Но, веря в победу, нельзя забывать, что иногда для ее достижения надобно и отступить. По-умному, конечно.

— Мирон, а кавказский магазин — это серьезно?

— Так серьезно, что ты немедленно отправишься туда и примешь его под свое крылышко... Тьфу, дьявол, крылышки у ангелов, а у вас, чертей, рожки...

Но Богомолу уже не до шуток.

— Мои полномочия?

— Магазин работает. Есть хозяин, хозяйка, прислуга, приказчики. Твое дело — следить за работой, помогать и реже там маячить. Знаешь, кто будет твоим «товарищем министра»? Лена. Не хочется мне жену с тобой отпускать, черти — они ведь непутевые, но через нее будешь держать связь со мной, а я осуществляю, так сказать, уже внешние связи. Сам в магазине не был и не пойду. Никитич мне так и заказал. «Вы, — говорит, — конечно, можете осмотреть и сами, но я думаю, будет лучше, если к ней (он имел в виду типографию) прокладывается возможно меньше следов». Нет, не пойду. И даже на Лесную не загляну. А ты не теряй времяяни, ступай. Тебя ждут, предупреждены. Пароль сам знаешь.

У Александровского вокзала вечная колготня. Отправляются ли поезда или прибывают — извозчики толкуются тут день и ночь. Ваньки и лихачи на дутой резине, ломовые. Булыга мостовой густо посыпана овсом, клочьями сена, заляпана конским навозом. Людям здесь тесно, а воробьям раздолье. Привокзальное племя разъелось, обленилось, им даже драться с чужаками лень.

Богомол знает Москву приблизительно. Да и где ее узнать! Улочки, проулочки, тупички... Но Лесная улица заметная. Только вот почему она Лесная? Тут не только деревьев, травинки-то не видно. Наверное,

когда-то это была просто лесная дорога из Москвы в ближнее село. Унылые сундуки каких-то облезлых домов. Это тебе не арбатские и пречистенские гнездышки. Здесь не видно особняков — магазины, лавки, мастерские, доходные дома.

У вокзала улицу сторожит божий храм, а в ее конце другой сторож — Бутырская тюрьма. Ничего не скажешь — надежные стражи веры, царя и отечества.

А вот и «кавказский магазин». Невелик. Да и домик-то невзрачный, разве что по фасаду кафелем немного прихорошил.

Черт совсем уже было собрался войти в магазин, когда его внимание привлек городской. Конечно, городской мог оказаться здесь случайно, но кто его знает!

Городской не спешил уходить. Неторопливо проследовал до угла, потоптался на месте, крикнул и зашагал обратно. Вот он подошел к магазину, заглянул в пыльное, давно не мытое окно витрины. Снова крикнул. И так же нехотя поплыл к противоположному углу.

«Ну и ну, не иначе здесь фараоний насест».

Пока городской по-воеводски обходил свои владения, Черт проскользнул в магазин. После яркого дневного света торговое помещение и впрямь походило на преисподнюю. Какой-то затхлый, замшелый воздух застыл под нависшими потолками. О кавказских ароматах не может быть и речи. Пахнет сыростью, плесенью и пылью.

На полках две-три головки сыра овечьего, россыпь рожков, бусины грязного кишмиша и одинокий мешок риса. Все эти товары выглядят случайными заплатами на зияющей пустоте.

Хозяина зовут Василием Егорычем — имя русское. Но та троица продавцов, что встретила Черта недо-

вольными взглядами, — явно грузины или мингрелы, во всяком случае, они с Кавказа.

Который же из них хозяин?

Пока Богомоллов раздумывал, продавцы, казалось, потеряли к нему всякий интерес. Двое — это приказчики. Они режутся в шашки. А вот третий, постарше, что растянулся на ларе, наверное, и есть хозяин. Хорош! Ни дать ни взять как в Астрахани перс-купец. Заходи в любую лавочку — персяка обязательно сидит себе на ковре, чешет крашеную бороду и глазом не ведет. Бери свой товар, коли охота, сам снимай с гвоздя или с прилавка, плати и не мешай. С места не тронется.

В русском магазине продавцы в шашки не стучают и хозяева на ларях, как сытые коты, не растягиваются.

— Мыло есть?

Тот, что лежит на ларе, приоткрыл один глаз. Потом захлопнул, лениво и как-то нехотя бросил:

— Здесь кавказский магазин. Откуда я возьму тебе мыло?

Потянуло же за язык мыло спросить! Теперь, если произнести пароль, то этот кацо, чего доброго, и не поверит.

Богомоллов в нерешительности переступил с ноги на ногу и открыл было рот, но в этот момент хрюснула дверь и в магазин ввалился городской.

Принесла нелегкая. А может, и унюхал что?

Хозяин проворно скатился с лара.

— Скучаешь, Ерофей Силыч?

— Тоска, кацо!

— Орехи хочешь?

— Опять ты орехи да орехи. Эвон на дворе сыро, погреться бы...

— Нэ держу, дорогой. Подвозу нэт. Дорога нэ ходят. Кавказ уеду...

— Дела! Приказчики у тебя дармоеды. Целый день, вишь, шашками доску гвоздят.

Хозяин делает страшные глаза.

— Расшибу!

Приказчики прыскают в разные стороны. Городаш хрюкает от удовольствия. Потом стирает с лица улыбку. Строго оглядывает Богомолова, берет под козырек и тяжело ступает к двери.

Хозяин вопросительно смотрит на Черта.

Тот вполголоса произносит пароль.

— Господи, уж не принесли ли вы приказа закрыть эту лавочку? Вот бы радость была какая!

Хозяин почти чисто выговаривает русские слова. А еще минуту назад, беседуя с фараоном, он подбирал их с трудом.

Богомолов понимает, что ему не следует надолго задерживаться. Этот чертов городаш испортил всю обедню. Если он обнаружит, что покупатель куда-то запропастился, может и заподозрить.

Хозяин смеется.

— Нет, дорогой. Силыч круглый болван, вон как та головка сыра. Ты не бойся. Он сейчас пошел в трактир на том углу Палихи. Там ему найдут чем погреться.

— Н-да! А в магазине товара не густо... Покупатели заходят?

— Случается. Но мы их отваживаем, говорим, что торгуем не в розницу, а оптом. А потому на полках держим только образцы. Иногда приходится и на Сухаревку отправляться, оптовый заказ выполнять. А денежки тютю. На Сухаревке дерут втридорога.

Черту не терпелось заглянуть в типографию. Для

того и пришел. Но хозяин медлил с показом. Внизу, в типографии, еще не кончили работать Георгий и Сила, печатники высочайшей квалификации.

— Вдвоем едва помещаются. Третьему некуда. Скоро выйдут, воздух кончается.

Богомоллов не сразу понял, что значит — кончается воздух. Но через несколько минут убедился, что хозяин говорит именно о том воздухе, который необходим легким.

Василий Егорович поманил Богомоллова пальцем и юркнул в узкую дверцу за прилавком. Там оказалась комната — хозяйские апартаменты. За ширмой на узкой железной кровати лежал человек. На его лице нарост зеленой болотной плесени. Он тяжело и часто дышал. И даже не открыл глаза, когда Богомоллов приблизился к нему.

— Вот так и работают. Два-три часа внизу, три-четыре здесь. И каждый день — месяц жизни.

Черту вспомнилась самарская типография. В старом, скрипучем, но уютном домике. Чистая, просторная комната. Много воздуха. И только с освещением все время мучились. А здесь?

Богомоллову почему-то расхотелось проводить «инспекторский смотр». В конце концов он ничем помочь не может. Его посещение не прибавит добровольным затворникам ни света, ни воздуха.

И даже неудобно как-то доложить Мирону, что условия работы в этом магазине попросту нечеловеческие, — никакого открытия. Мирон об этом и сам знает. И этот большой и вконец измученный человек, у которого хватает только сил на то, чтобы, задыхаясь, хватать воздух, знает — ничего лучшего пока у партийных техников нет. Значит, надо работать.

Хозяин уловил настроения Черта.

— Нет, нет, вы обязательно спуститесь в «подвал для хранения в прохладном месте товаров кавказского происхождения»...

М-да, «прохладное место»... Богомоллов едва заметно кивнул головой в сторону кровати.

— Вы должны познакомиться с секретом входа. На всякий случай, конечно.

Хозяин прошел вперед, откинул крышку подпола. Богомоллов увидел обыкновенный подвал. Он был пуст, если не считать нескольких мешков и какой-то бочки. Хозяин спустился в подвал. Черт полез следом. Отодвинув бочку, хозяин указал на темный лаз.

— Это колодец для отвода влаги. Но воды тут нет, позаботились. — Хозяин забрался в колодец и приподнял боковую стенку. Она была так прилажена, что посторонний человек ее не заметил бы.

— Дальше ползайте вы, вдвоем нам не протиснуться.

Хорошо сказать — ползайте. А куда прикажете лезть?

Черт присел на корточки и только тогда разглядел, что этак сажени на полторы ниже края колодца начинается какой-то ход в сторону. Да и ходом эту щель не назовешь, скорее лаз, наподобие тех, что ведут в медвежью берлогу. В общем, пешком не пройдешь, только на животе.

Черт пополз, и стенка за ним сразу же захлопнулась.

Не самое приятное ощущение — словно заживо в могиле. Ни света, ни звука. Хотя свет откуда-то все-таки пробивается. Звериная пещера несколько расширилась. И Богомоллов решил уже встать на четвереньки, поднял

голову и замер — из полумрака на него смотрели два настороженных глаза.

«Ужели хозяин не предупредил?..» Эта мысль сразу же сменилась другой, беспокойной: а что, если они работают с револьверами в кармане?

Конечно, печатник прав, чужой проник в лаз — значит, наверху все или арестованы, или...

Богомоллов инстинктивно, не думая, прохрипел пароль. Человек в пещере не ответил. Может быть, ему этот пароль неизвестен, ведь им пользуется только хозяин магазина.

Да нет...

— Зачем пугаешь людей, кацо? И кто тебя сюда пустил?

Ну конечно же, это Сандро. О нем рассказывал Мирон.

Богомоллов наконец выпрямился, уперся макушкой в низкий сводчатый потолок и шумно вздохнул.

— Ты что, хочешь, чтобы свеча совсем погасла? Твои легкие не для этого дворца.

И действительно, огонь свечи стал спадать, шлейф копоти расплзался шире.

Богомоллов хотел сделать шаг навстречу наборщику, но больно ударился коленом. В этом мигающем полусвете он не рассчитал расстояния.

— Здесь можно только стоять. Здесь нельзя ходить...

Сандро, не двигаясь с места, протянул руку. Богомоллов подал свою. В другой руке наборщик держал увесистый гаечный ключ... Да, он мог бы поприветствовать незваного гостя и с другой руки.

Когда глаза несколько попривыкли к полусвету, Черт огляделся.

Земляной склеп. В земляную стену вдавлена наборная касса. Почти всю ширину занимает «американка».

И нечем дышать. Нельзя двигаться, нельзя распрямиться.

Да, это сейчас настоящее, без всяких там переносных смыслов, подполье.

— Давай выйдем. Ты слишком много дышишь. Весь кислород забрал.

Сандро говорил отрывисто, с трудом. Умиравшая свеча все же давала достаточно света, чтобы Черт разглядел зеленый овал лица наборщика, его налившиеся кровью глаза навывкате, полуоткрытый рот.

Наверху они долго не могли отдышаться.

Что может быть хуже неизвестности и ожидания? И единственным развлечением за весь день — пятнадцать минут прогулки по кругу тюремного двора. Потом снова ожидание. Снова неизвестность.

А за высокой стеной буйная украинская осень. Разгулявшийся ветер занес откуда-то первые желтые листья. Они кружат над тюремным замком. Они радуются, когда ветер уносит их прочь от этого мрачного места.

Володя остановился, поднял голову к небу, к облакам. Теперь он видит только летящие листья.

Надзиратель грубо подталкивает:

— Стоять не положено...

И снова серый двор, серые стены, серые халаты арестантов.

Здесь, в «Лукияновке», он слышал удивительную легенду, именно легенду. Иначе и не назовешь побег десяти искровцев в 1902 году. Рассказывают, что в те

годы было некоторое послабление тюремного режима. Заключенные ходили друг к другу в гости, их запирали только на ночь. И целый день можно было гулять на дворе, играть в лапту, строить гимнастические пирамиды. Даже танцевать.

Не верится...

Но именно пирамида «слон», когда внизу становятся четверо, на их плечи трое, а к ним взбирается еще один, и помогла бегству искровцев.

Помогли и товарищи, те, кто был по ту сторону стены. Они передали в именинном пироге железную «кошку» и снотворное для надзирателей.

А затем!..

Надзиратели спят. Часовой у ворот в объятиях Сильвина. «Кошка» зацепилась за верх стены. К ней привязана лестница из разорванных простынь.

И десять были таковы!

Правда, не убежал одиннадцатый, Сильвин. Он держал часового. Злые языки говорят, что все-таки неясно, кто кого держал.

Над тюрьмой кружат осенние листья. Желтые, печальные. Володя ловит залетных гостей, гладит.

Но почему этот лист такой странной формы? Он еще высоко. Да нет, это не лист. Это змей. И он сделан из газеты.

Нежданного пришельца заметили и другие заключенные. Скорбное шествие нарушено. Серые халаты стоят. Задрали головы.

А ветер подхватил змея, бросил ввысь, потом прижал почти к самой стене. Улетит!..

И вдруг змей сморщился, съежился и камнем упал к подножию стены. Володя успел схватить комок газеты. И он не слышал, как за стеной раздалась ругань ча-

сового. И веселое улюлюканье задорных детских голосов.

Только потом Володя понял: ребята соорудили змея, пустили его над тюремным двором, а когда змей готов был улететь за пределы тюрьмы, сбили его из рогатки.

Газета печатала манифест 17 октября. И кто знает, может быть, ребят надоумили пустить змей взрослые? Друзья? Может быть...

И снова камера. Его никуда не вызывают, не допрашивают. Это прием, это одна из полицейских пыток. Но теперь появилась надежда — Володя поверил в манифест. И не понимает, почему не верят в него более старые, более опытные.

Давно выпустили Мирона. Он так и ушел с жокейкой за пазухой. А ведь собирался прыгать с четвертого этажа.

Газета скупо сообщала, что в Москве всеобщая стачка. Да и не только в Москве. По всей России. Чем все это кончится?

Прошло еще несколько дней. В конце октября, в сумрачное, дождливое утро, Володю вызвали в тюремную канцелярию. Надзиратель спросил о вещах. Но вещей у Володи не было. Надзиратель пожал плечами:

— Ну, молодой человек, ваше счастье, поздравляю, вы свободны. Не забудьте, как только окажетесь в городе, зайти в церковь и поставить свечку во здравие его императорского величества. Вы свободны по манифесту 17 октября. Небось и не знали? Или уже прочли в залетной газетке? Знаю, знаю!..

Но Володя не слушал полицейского чиновника.

Свободен! А они не верили в манифест!

Он шел через старое кладбище и не замечал дождя, ветра, осени.

Свободен!

Он шел по улицам Киева и не видел людей.

Свободен!

И только вечером на вокзале, когда улеглось волнение, Володя понял, что чиновник прав. Ему действительно крупно повезло. Царский манифест — обман, ловушка. И в Киеве уже орудует черная сотня. И из Киева он должен уехать сегодня же.

Его арестовали на улице в ясный, солнечный день. Он был в пальто. А сейчас канун ноября. Холодно. В Киеве есть знакомые, они приютят. Но нет, надо ехать. Но куда? Можно было бы пробраться домой, в Вильно. Нельзя! Нужно ехать только в Москву, только в Петербург.

Володя пересчитал деньги, ему их вернули в тюремной канцелярии. Пять рублей все-таки украли. Ну черт с ними.

Денег хватит в обрез четвертым классом до Москвы. Значит, Москва.

— Ну, друг мой, вам действительно везет. И я бы на вашем месте последовал совету тюремщика — поставил бы свечку. Во здравие русской революции. Это она вырвала у царя манифест. Только оболящаться, батенька, не следует. Пусть себе меньшевики вместе с кадетами верещат о победе революции, о новой, парламентской конституционной России. Все это блеф. Теперь они хотят как можно скорее покончить с революцией. А главное — загнать рабочих с улицы в старые, гнилые подвалы. Они боятся, что революция пере-

шагнет через них. И тогда не будет ни меньшевиков, ни кадетов, ни конституции, ни царя. Мы в это верим. Но, батенька, до этого дня далеко. И нам еще предстоит гражданская война. Восстание. Ленин зовет к восстанию... Но я отвлекся. Вам еще раз повезло — ведь я случайно забрел на эту старую явку. И такая встреча... Вы говорите, что учились в динамической школе в Киеве? Да, да, бомбы нужны! Вы Грача — Баумана — не знали? Да где вам! Его так же, как и вас, недавно из тюрьмы выпустили. А потом черносотенцы убили на улице, средь бела дня. Я тоже выбрался из «Таганки» именно в этот несчастный день — восемнадцатого октября. Нас освободила революция, но уже идет, наступает контрреволюция. Убили и Грожана. Хотя Грожана вы тоже знать не могли. Вот он-то и заведовал всей московской техникой, бомбами, динамитом. Да так ловко заведовал, что никто не может после его смерти узнать, с кем был связан Павел Августович. Куда девал оружие? Теперь многое приходится начинать сначала.

— Иосиф Федорович, это тот Бауман, организатор побега из «Лукияновки»?

— Тот самый. Ба, вы ведь тоже из «Лукияновки». Что, небось не забыли тюремщики побега? Фантастично! Но бог с ней, с тюрьмой. Я дам вам явку к Кропотову — он ведает лабораторией, где производят бомбы. Будете помогать. Кстати, вам придется осуществлять связь еще с одним бомбистом. У него прозвище Черт.

— Черт? Я слышал от Мирона. Тот в восторге от его проделок.

— А вот в МК не очень восторгаются. Слишком рискует. И чтобы вы не заразились от него, перейдете на нелегальное положение с документами репортера «Мо-

сковских ведомостей». Это ваш Мирон осчастливил москвичей. Перетащил из Орла паспортное бюро. Документы стряпает — загляденье.

— У Мирона, возможно, сохранилась матрица печати, которую я ему резал еще в Пскове...

— Ого, батенька, да у вас выслуга лет солидная!..

Встреча с Иннокентием — Дубровинским, членом МК, видным большевиком — решила судьбу Володи. Он остался в Москве.

И снова запах кислот. Снова тревоги, ожидание событий. Поиски оболочек для бомб.

События опережали производство бомб. Они каждый день грозили обрушиться обвалом на помещичью Россию, на царизм, на кадетов и октябристов, на всю нечисть, против которой восстал народ.

Каждый раз, поднимаясь по этой белой мраморной лестнице в доме на Фонтанке, Кирилл Пантелеймонов, в прошлом мелкий филер, а ныне начальник целой группы «пауков», ведущих внешнее наблюдение, вспоминал поучительный рассказ своего шефа об истории дома.

Старые петербуржцы величают его «домом у Цепного моста». При этом понижают голос. А моста-то Цепного, поди, уже лет десять, если не более, как нет. Но врезалось в память россиянам это здание.

Да и как не запомнить! Тут с 1833 года размещалось III отделение личной императорской канцелярии. Великий шутник был его императорское величество, блаженной памяти Николай Павлович. Домик подарил шефу жандармов Бенкендорфу.

Говорят, что когда-то, еще в благословенном осьмнадцатом столетии, сей домик отстроил граф Остерман. И между прочим, проживал в сем доме некий коллежский ассессор Флейшер. Доктор знатный. И бестия перво-статейная — поместил где-то объявление, что, мол, есть такой

медик, «который лечит всякого роду сильные нутренние и наружные болезни без изъятия», а проживает он по Фонтанке, в доме № 123.

Вот ракалья! «Нутренние болезни». Только ошибочку допустил — болезни «нутренние» без изъятия не лечат, никак невозможно. Такая уж это зараза — не пресечешь, считай, эпидемия, хуже чумы. Ведь до чего дошло — его «пауки», «подметки», «филиришки», по целковому за штуку, вдруг пригрозили забастовкой! Да еще и «экономические требования» выдвинули. Им, видишь ли, мало в лапу кладут, добавить бы надобно.

И все почему? «Дух времени». Та самая «нутренняя зараза». Эпидемия! Ведь и чиновники тоже в революцию понтируют. Но эти, вишь, предпочитают вистовать только тогда, когда на руках все онеры, а так — пас. А «пауки» — вистуют. Мразь!

Пантелеймонов поднимается на третий этаж. Сейчас он предстанет перед начальником отдела политического сыска, и ему надлежит, как всегда, сделать сообщение о результатах недельного наблюдения. Обычно результаты всегда были. И начальство оставалось довольным. Ну, а сегодня какие могут быть результаты, если эти гороховые чучела всю неделю пьянствуют по кабакам и предъявляют свои требования. Ведь самому пришлось всю неделю шастать по улицам. Но один много ли успеешь? Ведь закон слежки таков: если увязался за кем-то, то уж, будь добр, проследи до конца. На другие объекты не покушайся.

Пантелеймонов остановился возле массивной двери. «Пронеси, господи, матерь божья богородица...»

Дверь отворилась.

— А... Вас мне и надобно, любезнейший. Заходите, заходите!

Пантелеймонов бочком влез в кабинет, затаил дыхание. Сейчас, после доклада, начальство учинит ему генеральский разнос и, как знать, может быть, и от должности отрешит.

Но начальство не пожелало слушать докладов.

— Сегодня примите на себя лично наблюдение за одним нелегалом. Он в Петербурге проездом. Пробыл несколько дней. Встречался с большевистскими лидерами и возвращается в Москву. По паспорту — смоленский дворянин Алексей Алексеевич Мелованов. Есть подозрение, что его настоящая фамилия — Богомолов. Опасный функционер. Известен под кличкой Черт. Выедете вместе с ним в Москву и там передадите московским сотрудникам.

Пантелеймонов невпопад пробормотал что-то вроде «покорнейше благодарим» и пулей выскочил из кабинета. Пронесло!

Уже на улице с гордостью подумал, что о нем не забыли и не кому-нибудь, а ему поручили наблюдение за ниспровергателем из опаснейших.

В канцелярии отдела Пантелеймонов получил фотографию, и, что главное, адресок, где этот Черт бывал, дали. Адресок-то знакомый. На Морской обитает некий инженер Красин. Бестия из наихитрющих — у себя в кабинете принимает только хорошо знакомых, с незнакомыми общается в шикарных ресторанах, куда «подметок» и не пускают. Была бы его воля, давно бы этого инженера с холеной бородкой и тросточкой в тюрьму бы запрятал. «С изъятием», так сказать.

Филеры, шуры барабанные, забастовали, прохлопали встречу Красина с Чертом. А ведь за Красиным его люди должны были вести наблюдение.

Что ж, контору инженера Красина Пантелеймонов знает. Карточка Черта в кармане. Уж он-то постарается. Как-никак, а двадцать лет выслуги — это тебе не «подметка» на побегушках.

Пора, пора и в Москву. Все распоряжения получены. Связи установлены. Чертежи и прочая документация надежно упрятаны в подошве сапога. Богомоллов, правда, несколько обеспокоен состоянием этой подошвы. Он все же не сапожник. Отодрать отодрал, а вот хорошо ли подшил и подбил обратно?

Нет, оторваться она не может, это исключено. Но на дворе ноябрь, дождит. А если водица подмочит записи, то потом их впору выкинуть.

Записи очень важные — формулы и описание получения панкластита, смеси бертолетовой соли с керосином. Это очень сильное взрывчатое вещество изобрел Эллипс, профессор химии. Богомоллов встречался с ним и в Москве. В Москве же Эллипс сообщил рецепт приготовления «панкластита марки дубль М» — у профессора инициалы М. М. Но тогда все это он передал на словах, с записями же, с формулами понадежнее.

И чертеж тоже документ не столько важный, сколь секретный. Леонид Борисович Красин сам вычертил профиль концевой кабельной чугунной муфты. Такую муфту можно заказать на любом чугунолитейном заводе, и при этом вполне легально. А она очень удобна как оболочка для бомб.

Вот ведь как все обернулось. Еще совсем недавно был «Магазин кавказских фруктов», типография. И вдруг вызывает Мирон.

— Ну, чертушка, придется тебе сдавать свою преисподнюю. Для тебя нашли работку более подходящую.

Скажем прямо — адскую работу. Будешь заведовать адскими машинами. Слышал о таких?

— Слышать-то слышал, но, прости, пока ничего не понимаю...

— Сейчас поймешь. Наверное, уже знаешь, что на днях черносотенцы в трамвае убили Павла Августовича Грожана. Он ведал всей техникой Московской организации. Из Питера приехал его брат Юлий. Найти ему замену не может. Я в это время в Орле болтался. Все никак не переберемся. А тут Никитич вызывает. Я снова в Москву, да с вокзала прямо на явку. Конфуз, брат, получился. Открывает мне дверь высокий, худой мужчина. Лицо знакомое, а вот вспомнить не могу. Сам знаешь, за эти годы столько лиц примелькалось, что все кажутся знакомыми. Я, значит, Марию Федоровну Андрееву спрашиваю, а ее дома нет. Мужчина предлагает обождать. Сидим, разговариваем. Мой визави что-то толкует, а я вслушиваюсь в его окающий, волжский говор, вглядываюсь в лицо и вспоминаю, вспоминаю... И представь, в конце концов вспомнил. А вот что он мне говорил, все пропустил. А ведь это был не кто иной, а Горький. Вот, брат, какая петрушка. Должен тебе заметить, выглядел я в этой беседе дурак дураком. Слава богу, вскоре Мария Федоровна подошла. Вот я и запродал тебя. Уж очень ласково Андреева меня упрашивала: «Уступите, — говорит, — вашего Чертика, ни один другой сатана не вызывает у меня такой симпатии». Ты это когда успел подружиться с ними, «симпатичный» Черт?

— Встречались...

Да, они дружат. С Марией Федоровной нельзя не дружить. Необыкновенная женщина. Она артистична во всем. Каждый раз, начинив очередную бутылку из-

под шампанского или приготовив несколько килограммов взрывчатки, Богомоллов отправлялся на Воздвиженку, где в доме номер четыре жили Горький и Андреева.

И надо было видеть, как просто, непринужденно, грациозно принимала Мария Федоровна «адские снаряды» из рук Черта. Однажды она привела Богомоллова в свою комнату и открыла дверцы массивного, красного дерева и, видимо, очень дорогого шкафа. Бог ты мой, вместо платьев, костюмов, пелерин Черт увидел массу всевозможного оружия, оболочки для бомб, мотки бикфордова шнура, коробки с капсюлями гремучей ртути. И бомбы его приготовления тоже нашли свое место в шкафу.

В соседней комнате жила подруга артистки Олимпиада Дмитриевна Чиркова. Ужели она не знает о той мине, которая заложена прямо у стены, где стоит ее тахта? — полюбопытствовал как-то Богомоллов. Мария Федоровна пригласила его в соседнюю комнату, там тоже стоял платяной шкаф. И в этом шкафу не было платьев, и в этом лежали револьверы, бомбы, детонаторы.

Черт был восхищен. Вот это женщины!..

На Самотеке, в квартире Дилевских, он познакомился с миловидной девушкой. Ее звали Ольгой. Черт явился с бомбой. Он собственноручно начинил ее мелонитом. Бомбами этого типа он особенно гордился: беда это его идея — использовать для оболочки обычные гимнастические гантели. У кого они могут вызвать подозрение?

Но хранить гантели у себя дома он не мог. Андреева дала адрес Дилевских, сказала, что там можно на несколько дней оставить бомбы, потом за ними придут.

Но, очутившись в этой квартире, лицом к лицу

с Олей, Черт почувствовал себя очень скверно. Ведь в каждом гимнастическом снаряде два с половиной фунта взрывчатки. Нет, он просто не имеет права оставлять этим милым мирным женщинам такой, с позволения сказать, гостинец.

Наверное, у Богомолова лицо было столь выразительным, что Ольга весело рассмеялась. Улыбнулась и ее мать.

— А вы помните те браунинги и маузеры, которые достались вам от какого-то отставного офицера? — Ольга лукаво заглянула Черту в глаза.

Откуда она может знать об этом оружии?

Действительно, прапорщик запаса Мейер, и по сей день работающий в статистике земской управы, где-то добыл небольшую партию револьверов. Но Богомолов передал их на хранение Карасеву с фабрики Шмита.

— Вот видите, я о вас знаю больше, чем вы о нас. — Ольга взяла Черта за руку и ввела в крохотную спальню. Два старинных, разошедшихся кресла с высокими спинками, маленькое дамское бюро и высокая кровать занимали все пространство комнаты. На стенах в облезлых, а некогда позолоченных рамках висели небольшие акварели, семейные портреты.

Ольга подошла к кровати, откинула белое, подбитое кружевами покрывало и приподняла перину. Богомолов ожидал увидеть все, что угодно, но только не револьверы. И наверно, те самые, которые он раздобыл через Мейера.

— Признаюсь, перина мне мало помогает, особенно донимают эти вот наганы, у них, знаете ли, барабаны не приспособлены, чтобы служить подстилкой для сна...

Олина мать деловито перекладывала наганы вниз,

чтобы их выступающие барабаны не так подпирали тонкий слой пуха старой перины.

Да, эти люди вызывали у Богомолова чувство восхищения, гордости...

Красин, прощаясь, предупредил, что, по его мнению, рабочая Москва должна со дня на день выступить. И это выступление при благоприятных условиях перерастет в вооруженное восстание. Значит, они должны дать оружие, как можно больше оружия.

Пантелеймонов целый день крутился возле конторы начальника кабельной сети Петербурга инженера Красина.

Ужель не повезет? Вот тогда действительно скандал, его выгонят с треском. Ведь этот Черт мог и уехать. Как это ему раньше в голову не пришло узнать, кто вел за Чертом слежку, принять его, так сказать, с рук на руки? Неукоснительное правило, а он о нем забыл. Обрадовался, что не получил нагоняя из-за своих филеров.

И отойти нельзя. Вот незадача...

Но Пантелеймонову повезло. Иначе и не назовешь эту встречу лицом к лицу. Богомолов идет по Невскому с чемоданчиком в руке.

Хорошо, что Богомолов не знает в лицо столичных шпииков. Хоть и много в Питере «пауков» и «подметок», но попробуй вот так наскочи на того же Красина — вмиг узнает. А ведь и года не живет в столице. Но опытен, ох опытен! Наверное, специально приглядывался, да и все «паучьи» повадки знает. А этот, видно, непуганый. Ишь посторонился и снова вышагивает себе. Местечки выбирает, норовит по сухому пройти — под крышами, где дождь не намочил.

Вот бы в его чемоданчик заглянуть! С виду невелик, а, судя по тому, как его этот Черт несет, тяжел.

Пантелеймонов опытным глазом ощупывает карманы пальто Богомолова. Оружия, похоже, нет. Но, как говорится, береженого и бог бережет. После того как нескольких филеров прихлопнули в темных переулках, Пантелеймонов стал особенно осторожен. Правда, большевики против такой стрельбы по филерам, зато эсеры готовы палить среди бела дня на Невском. Пантелеймонов ныне без револьвера ни шагу.

Богомолов свернул к Московскому вокзалу. Пантелеймонов забеспокоился. Ужели его поднадзорный вот так, с первым попавшимся поездом, и укатит в Москву? А Пантелеймонову нужно бы еще и домой заглянуть, жену предупредить. Да и не обедал он сегодня, а это непорядок. Как-никак он человек в годах и с достатком.

У касс пусто. Пантелеймонов, не таясь, подошел к окошечку и встал вслед за Богомоловым. Тот взял билет на ночной поезд. Вагон пятый.

Пантелеймонов тоже купил билет на тот же поезд, в тот же вагон. Второй класс, значит, купе отдельные — ничего, он всю ночь будет стоять в коридоре и курить. К этому они привычные.

Черт не спешил уходить из вокзала. Странно, но физиономия вот этого господина, что покупает билет, ему знакома. Откуда? В Петербурге Богомолов бывал два-три раза, все столичные знакомые наперечет. Может быть, он встречал его в Москве или еще раньше — в Самаре или Астрахани?

Нет, только в Питере. Более того, он встретил этого господина не далее как несколько минут назад, когда свернул на Невский. Станные совпадения... Господин,

так же как и он, решил прогуляться пешочком до вокзала? По всему Невскому? И под проливным дождем? Конечно, если учитывать, что в столице бастуют кондукторы трамваев, то такое совпадение возможно.

Но ведь он, Богомоллов, не поехал на извозчике только потому, что за пролеткой легко проследить, а когда едешь с поднятым от дождя верхом, сам ничего не видишь вокруг.

Незнакомец доверия не внушает. К этому обветренному, грубо вырубленному, словно топором, лицу не подходит модная шляпа. Пальто добротное, но поношенное основательно. Хозяин, видимо, привык носить правую руку в кармане, вон как оттянут. Э, да карман отягощен чем-то тяжелым. Господин руку вынул, чтобы взять билет, а карман все равно отвисает. Пожалуй, шпик.

Да, да, шпик. Богомоллов теперь в этом не сомневается. Конечно, «паук» слышал и когда отправляется поезд, и номер вагона, кассир любезно все это произнес вслух. И вот цена любезности... Теперь изволь отделываться от шпики.

Пантелеймонов, не взглянув на Богомоллова, вышел из зала. Черт встал у окна. Он видел, как не торопясь господин перешел через площадь к стоянке извозчиков. Поторговался с ванькой и отбыл.

Значит, его все-таки «взяли на мушку», как любит выражаться Мирон. Теперь кто кого. Богомоллов вышел на Знаменскую площадь. Постоял, прикурил и не торопясь направился в ресторан гостиницы. Он еще при приезде в Петербург отметил, что у этого ресторана огромные окна, из них площадь вокзала видна как на ладони.

Швейцар услужливо распахнул тяжелую дверь и потянулся за чемоданчиком. Богомоллова бросило в

дрожь... Как он мог забыть, что в чемоданчике двенадцать фунтов гремучертутных детонаторов и десять аршин бикфордова шнура! Тряхни чемоданчик посильней или неосторожно стукни о пол...

Черт решительно отвел руку швейцара. Небрежно сбросил пальто.

К счастью, у окна свободный столик. Официант убрал лишний стул. Теперь можно и осмотреться.

Площадь полна народу. В этой толпе заметить филера? Случай невероятный. Тем более внешность у него самая заурядная. Вот разве что шляпа! Но шляпу «паук» может и переодеть. Даже наверняка сменил, ведь это элементарно. А лица Богомоллов не разглядел.

Что же все-таки делать? Остаться на сегодняшнюю ночь в Питере? Во-первых, если за ним прицепился хвост, нет никаких гарантий, что слежку ведет только один шпик. Едва поезд тронется, филер сразу же обнаружит, что его поднадзорный отсутствует. Выйдет на первой же станции, даст знать в Москву, протелеграфирует петербургскому начальству... Начнут розыски в обоих городах. Этак с почетным эскортом и домой прибудешь.

Надо искать иной выход.

На Москву идет еще один поезд. Билеты ему, конечно, поменяют... Нет, не годится. Тот же шпик с той же станции все равно на всякий случай предупредит московских коллег, и они чин чином встретят его на вокзале.

Попробовать улизнуть в самой Москве? То ли улизнешь, то ли тебя тут же, на перроне, и арестуют. Но, с другой стороны, если в Петербурге проследили, то и арестовать могли тоже в Питере, чемодан — такая

улика, что потянет на виселицу. Значит, им важно в чем-то убедиться. Может быть, им нужны его связи?

Головоломочка!..

И все же выход есть!

Пантелеймонов был очень доволен, что в купе не оказалось соседей. Не нужно объяснять попутчикам, что он страдает бессонницей. Можно открыть дверь и только время от времени выходить в коридор. И на станциях. Это на всякий случай.

Жалко, что нельзя предупредить проводника. Нынче они ненадежные, не то что в иные времена. Правда, Николаевская дорога во всеобщей стачке не участвует, но все равно ненадежные.

За окнами скрылись последние огни столицы, и только едва заметное светлое марево чуть проглядывает над горизонтом.

В коридоре пусто. Видимо, пассажиры расползлись по своим купе. Поздно. Порядочные люди в это время уже спят. И все же надо пройтись по вагону. Ведь он несколько запоздал, приехал на вокзал, когда уже все расселись по местам.

Немного ныне любителей раскатывать из города в город — время смутное. Дома оно надежнее.

Соседнее купе пустое. В следующем какая-то престарелая дама воюет с баулами, баульчиками, свертками. Дальше опять пусто.

Заглянул в служебное отделение. Проводник задумчиво жует и смотрит в окно.

— Нынче, я смотрю, работы у вас не слишком-то?

Проводник нехотя оторвал взгляд от окна, проглотил кусок пирога и неохотно буркнул:

— Какая работа, если в вагоне пять пассажиров?

— Как, только пять? Себя я не считаю, старушку с баулами видел, а остальные трое кто же?

Пантелеймонов понял, что излишнее любопытство может насторожить проводника. И тут же поспешил оправдаться:

— Я, знаете ли, в поездах не сплю. Привык к тому, что в вагоне всегда найдутся такие же страдалцы. Вот и коротаем ночь. В картишки скинемся. Или так, по душам поговорим...

— Трое — офицеры. Их благородия, видно, из одного полка. Где-то уже лизнули и теперь храпят. А в Питере едва в вагон вползли...

Что такое? Пантелеймонов выскочил в коридор. Рывком открыл дверь купе. Пусто. Снова пусто! В среднем купе темно. Дружный храп с присвистом. Пантелеймонов дотянулся до выключателя. Действительно, офицеры.

Была еще тайная надежда, что этот Черт каким-то образом замешался в их компанию или проводник по ошибке принял его за военного. Нет, Черта среди этих пьяных защитников царя и отечества нет.

Остальные купе тоже пусты. Пантелеймонов бросился в соседний вагон. Третий класс. И тоже пустой. Здесь нет электричества, но и при фонаре можно разглядеть лица.

Черт исчез!

Вагон за вагоном — всюду пусто. И только в первом классе дородный, пышноусый проводник не дозволил открывать купе, заявив, что господа спят.

Но Пантелеймонов теперь был уже уверен, что Черт остался в Петербурге. Или, что также вероятно, уехал с более ранним поездом.

Проворонил! Анафема! Шляпа!..

Оставалось дожидаться первой остановки.

Ждал нетерпеливо, каждые десять минут теребил проводника, сверял часы.

Наконец-то станция!..

Поезд еще не остановился, но Черт все же рискнул прыгать. Скользко!.. Прыгнул, прокатился по обледенелому насту платформы — и в тень, к кипятильнику. Трудно рассчитывать на то, что ночью найдется много любителей побаловаться чайком, но все же два-три человека с чайниками стояли наготове, когда он проходил в конец состава.

В руках у Богомолова тоже чайник, что поделаешь, пришлось разориться.

Пятый вагон встал прямо против входа в станционный буфет. Над дверью горит тусклая лампочка. Богомоллов ждет...

Так и есть — Черт сразу узнал пальто. А шляпу «подметка» заменил-таки на ушанку. И правый карман все так же оттопырен.

Черт вздохнул с облегчением. Его расчет оправдался полностью. Билет второго класса он сменил на первый. Первым забрался в вагон и, дав проводнику хорошие чаевые, попросил никого к нему в купе не подсаживать — он очень хочет спать, а когда спит, то так храпит, что наутро соседи обычно скандалят.

Притаившись, сидел в купе. Кто-то ходил по коридору, даже пробовал открыть дверь. Богомоллов захрапел, с присвистом, с завываниями.

Перед станцией он, к удивлению проводника, проснулся, взял чайник, сказал, чтобы проводник не бес-

покоился, дверей не открывал — он выйдет через соседний вагон, — и прошел в конец поезда.

Теперь чайник долой, он только мешает...

Черт подошел ближе к вагонам. Шпик, наверное, толчется у телеграфа. Сядет он обратно в поезд или останется ждать встречного, чтобы ночью вернуться в Питер, поднять на ноги охранку? Черт рассчитывал только на это. Иначе придется пожертвовать чемоданом, который оставил в купе.

А вот и третий звонок. Из станционного зала опрометью выскочил филер. Ужели поедет в Москву?

Паровоз дал гудок, дернулись вагоны. Э, да шпик-то не дурак, на всякий случай он хочет пропустить мимо себя весь состав.

Богомоллов влетел в тамбур, оттолкнув проводника, выглянул — филер стоял на месте. Последний вагон. Шпик медленно бредет обратно...

Пронесло!

Теперь нужно сойти где-нибудь перед самой Москвой и добраться в первопрестольную на перекладных, минуя вокзал.

Ну, это уже не самое трудное.

И вот началось. Началось с того, что потух свет. Потом куда-то исчезли извозчики. Захлопнулись двери театров. Не вышли газеты. Попрятались дворники. И не видно городских.

А на улицах толчея, веселые крики. И смятение.

Москва официальная, Москва чиновничья, Москва дворянская отгородилась от улиц ставнями, тяжелыми шторами. Но и сюда доносился голос улиц.

— Баррикады на Бронной!

- На Страстной драгуны дерутся с дружинниками!
- А по Тверской можно пройти?
- Арбат еще свободен?

И повсюду стаи мальчишек. Это их день. На Грузинах нет ни одного неразбитого газового фонаря. Приходится добывать не совсем разбитые. На Кудринской уже свалили фонарные столбы.

Пока не слышно выстрелов, но это только пока.

И уже через день ухает где-то пушка. И как сухие сучья в жарком костре, потрескивают выстрелы.

Появились первые раненые, первые убитые.

А еще через несколько дней Москва потонула в гуле орудийной стрельбы. Пушки бьют вдоль Тверской, сметая баррикады, снаряды вспахивают Пресню, откусывают огромные ломти от домов.

Горят окраины. И где-то, как голодные, шелудивые псы, брешут пулеметы карателей.

Володя пробирается к Цветному бульвару. У него нет револьвера, зато в портфеле стеклянная бомба с песочной пробкой. Он должен доставить ее Черту. Тот так и приказал:

— Принесешь на Цветной, меня найдешь у баррикады!

К удивлению, до Цветного добрался сравнительно легко. Но дальше начались трудности. Дружинники смотрели косо на репортеришку с портфелем. Так и хотелось сказать этим рабочим парням: «Я свой, я для вас делаю оружие!»

Но нельзя, он нелегал. Более того, он связной!

Володя очень боялся, что они потребуют открыть портфель. Догадаться, что бутылка — бомба, может человек и несведущий, ведь из горлышка торчит фитиль. А вдруг подумают, что он несет бомбу, чтобы

взорвать баррикады? Не успеешь ничего доказать — на месте порешат. И Черт не спасет.

С трудом, проходными дворами, сквозными парадными, Володя все же добрался до баррикады и сразу увидел Черта. В короткой куртке, в кепке с наушниками, в высоких сапогах, он являл собой какую-то странную смесь российского рабочего и иностранца. А может быть, такое впечатление создавали наушники? Но Володе было не до нарядов.

Черт схватил бомбу. Его сразу же окружили дружинники. Они с опаской поглядывали на зеленую бутылку и плохо слушали Богомолова. Наверное, он бы еще долго объяснял рабочим устройство снаряда, но в это время со стороны Самотеки затрещали выстрелы. Черт бросился к баррикаде.

— Не стрелять! Пусть подойдут поближе...

Володя спрятался в какой-то подъезд. И баррикада видна со всех сторон, и от пуль укрытие надежное.

Володя не отрывает глаз от Черта. А тот притаился, бомбу прижал к груди. Рядом какой-то дружинник, у него наготове спички. Вот вспыхнул огонек, затлел фитиль.

— Ложись!..

Черт размахнулся. Володя инстинктивно потянулся руками к ушам, но не успел...

Грохот, звон стекла — это сыпались окна в соседних домах... И крики.

Богомолов оглянулся, заметил Володю, махнул рукой.

— Тебя Иннокентий спрашивал, велел немедленно к нему. Я со своей квартиры в Екатерининском парке съезжаю, так что больше туда не ходи. Передай, бомбы

нужны всюду. Это третья, вчера я такие же две бросил на Домниковской и у себя в парке. Зря бросал в парке, потому и квартиру меняю. Ну беги, пока здесь тихо.

Черт пожал Володе руку, подтолкнул и уже больше не обращал на него внимания.

Иннокентий засел в Симоновской слободе.

«Симоновской республикой» прозвали этот район в дни восстания. Он отрезан от остальных районов Москвы, и туда еще нужно пробраться.

Володя заспешил: успеть бы до темноты.

Володя Прозоровский уже который раз пытается втолковать хмурому железнодорожнику, что тот не имеет права его задерживать. И пароль, и отзыв — все сошлось. Володя спешит в Москву.

Опасно? Конечно, опасно, но документы у него в порядке. Бумажки, правда, не бог весть какие — репортер газеты «Московские ведомости». А газеты пока еще не выходят. Но Володя уже успел убедиться, что к репортерам жандармы и солдаты не придираются, хотя и ворчат, если эти проныры суют нос в их «охранные дела».

Жандармы пропускают. А вот этот железнодорожник, свой, рабочий дружины депо Москва-Казанская, и задержал. Обидно!

— Да пойми ты, дурья голова, ну как отсель в Москву добраться? Поезда не ходят? Не ходят. Извозчики попрятались, как тараканы в мороз. Им предложи чистое золото — все одно не повезут: эвон как там стреляют. Выходит, пешком по шпалам... Все одно далече не уйдешь. Вчерась на вокзале были наши. А сегодня, рассказывают, семеновцы из Питера. Ждать надобно. Вот

пойдет поезд с дружинниками — посажу. А там как знаешь... Репортер!

Володе же нужно как можно скорее попасть на Никитскую. У него там явка в редакции. Необходимо предупредить Иннокентия — Дубровинского, — что близ Москвы оружия нет. И помощь вряд ли будет. Все отдали Москве: и ружья и людей. Если и правда подойдут семеновцы, то встретить их некому и нечем.

А может, этот сыч правду говорит? Вдруг власти действительно сумели по Николаевской дороге, которая так и не бастовала, подкинуть верные войска из столицы и ближайших городов? Тогда, конечно, Каланчевка занята. В первую очередь они о вокзалах позаботятся. Но как же тогда поезд с дружинниками?

Володя знает об этих поездах. Вооруженное восстание в Москве сразу, с самого начала, распалось на несколько очагов — Рогожско-Симоновский район, Пресня, Хамовники. Баррикады в центре, на Тверской, Садовой, у Страстного продержались недолго. Когда Володя выбирался из Москвы, центр был уже потерян восставшими. А теперь еще семеновцы из Петербурга... А это значит — пушки и пулеметы против револьверов.

В последние дни рабочие-дружинники на ночь в Москве не оставались, выезжали за город — ночью казаки, полиция, солдаты делали внезапные налеты на дома. Так недолго пропасть ни за что. А утром дружинники снова въезжали в город, снова вели бои.

Поезд с дружинниками пришел на рассвете. И при тормозил у депо. В теплушки забралось несколько железнодорожников с винтовками. «Сыч» посадил Володю на тендер.

В предрассветной мгле Володя увидел, что на тендере есть кто-то. У высоких бортов пригнулись люди,

а там, где тендер подходит к паровозной будке, на подставке из дров стоит пулемет.

Володя почувствовал себя неудобно. Он словно лишний пассажир среди этих вооруженных, подготовившихся к бою людей. А у него в кармане нет даже паршивого бульдога. Иннокентий запретил «репортеру» носить оружие: «Ты связной. Если при обыске у тебя нащупают револьвер, никакие репортерские причиндалы не спасут. Вздернут — и вся недолга».

Значит, он вынужден сидеть на тендере только как зритель? А Володе хочется хотя бы чем-то помочь этим ребятам. Может, он будет полезен машинисту? Ну угол там или дрова в топку кидать?

Машинист припал к рычагам. Он небольшого роста. Лицо разглядеть трудно, но, когда открывается топка, красные отсветы озаряют пушистые вахмистрские усы с обгоревшими концами. Лет ему около тридцати.

Володя кричит. Машинист не слышит. А Володя не может перекричать колеса. Дотронуться до него он не решается.

Паровоз резко притормозил. Володя успел заметить, как машинист, не спуская руки с реверса, высунулся в окно. Уже рассвело. Впереди входной семафор Сортировочной. Он открыт. На платформе гора брезента. Под ним не то ящики, не то какие-то бочки. За платформой, почти вплотную к полотну, прибились огороды. Ветер сдувает снег, обнажает неровные грядки смерзшейся земли, полуистлевшую ботву. Кто-то копошится среди этих грядок, словно собирает остатки огурцов, моркови, капусты.

Так это же солдаты! И они суетятся около пулемета...

Володю оглушило шипение пара. Машинист уже не

выглядывает в окно. Последнее, что Володя успел заметить, — брезент на платформе. Его словно ветром сдуло, и вместо ящиков и бочек — тоже пулеметы. Они стреляют, но грохот колес заглушает стрельбу.

Поезд идет задним ходом. Встречный поток отбрасывает черные шапки дыма на платформы, на огороды. Дым слепит солдат, мешает стрелять.

Но они стреляют, бегут вперед, что-то кричат!..

Скорость растет с каждой секундой. Кажется, что даже пули не могут догнать этот взбесившийся паровоз. Уже не видно Сортировочной, огородов, солдат. Уши заложило от рева открытого поддувала и сифона. Зато глаза видят. Видят стрелку манометра — она у красной черты! Десять атмосфер... Пятнадцать атмосфер!.. Сейчас взорвется котел, если, конечно, у вагонов раньше не оторвутся оси...

Девяносто верст в час! Мелькнули Люберцы. Впереди морозная мгла.

Назад отскакивают стрелки, мертвые семафоры, мертвые полустанки. И каждую минуту поезд может врезаться в тупик...

Далеко от Москвы, где-то между опушкой леса и огромным заснеженным полем, стоит усталый паровоз. Он еще изредка отдувается паром. Но топка погасла. И скоро труба покроется легким инеем.

Около теплушек молчаливые люди. Без слов пожимают друг другу руки и расходятся. Поземка замечает следы.

Володя бредет по насыпи. Был рядом с Москвой, почти в самой первопрестольной. А теперь? Как туда добраться? По шпалам? Но это несколько дней пути. И просто он не дойдет, замерзнет в декабрьскую стужу.

И все же он идет.

Идет много часов. Кругом дороги жмутся деревни. Но они притаились. Ни огонька в окнах, ни дымка над трубами. Даже собаки не брешут.

Мороз забрался под пальто. Володя уже не чувствует пальцев на правой ноге...

Рельсы пересекают какой-то проселок, а может быть, и шоссе, в сумерки не разглядишь. Будка у шлагбаума пуста. Под дверь нанесло снега — видно, давно никто сюда не заходил.

Володя залез в темную тесную конуру. Зажег спичку. И чуть не закричал от радости, обнаружив небольшую чугунную печь.

Лес рядом. И уже через полчаса он с наслаждением протягивает красные руки к огню. В будке стало тепло, Володю разморило, потянуло ко сну. Вот уже все поплыло перед глазами...

Он проснулся от стука. Кто-то обивал снег на ступенях... Володя глянул в оконце. У будки стоят крестьянские розвальни. А хозяина не видно. Володя откинул крючок. В будку ввалился тулуп, закутанный бабьим платком. И только два здоровенных заиндевших усища, торчащие из-под платка, свидетельствовали о том, что это мужик.

— Эй, мил человек, огоньку дай, табачок есть, а спичек ноне и купить негде...

Платок откинулся, на усы налез какой-то драный треух. Потом Володя увидел две щелочки, из которых на него смотрели два удивленных слезящихся глаза.

— Ты из города, чай?

— Да, из Рязани, — соврал Володя, — в Москву ехал, да вот поезд застрял...

— Эвон, поезд! Мы уже забыли о поездах, почитай,

недели три не ходят. Вот только ночью один из Москвы пропыхтел, да странный какой-то, раком шел...

— А ты куда едешь? Может, подвезешь немного, я заплачу...

Тулуп ничего не ответил, затягиваясь здоровенной козьей ножкой. Тесная будка быстро заполнилась дымом едкого самосада. Володе почему-то захотелось есть...

— Говоришь, заплатишь? Ой, дорого возьму...

Удача, честное слово, удача! Этот дядя, видно, думает, что Володя так прямо в Москву в его карете хочет въехать. Нет, в Москву — это значит на свидание с жандармами.

— Да мне до Люберец, там у знакомых и заночую. В Москве, говорят, стреляют, я и пережду...

— Красненькую дашь, сегодня к ночи будем в Люберцах.

Красненькая — это все Володино богатство, не считая кое-какой мелочи. Но черт с ним, лишь бы поближе к Москве.

— По рукам, дядя, и поехали.

Но «дядя» не торопился. Видно, он никак не рассчитывал, что этот странный не то студент, не то просто так, обыватель, не раздумывая, согласится заплатить неслыханную цену. Красненькую! Эвон! Он и заломил-то для того, чтобы отделаться. Красненькая — так ведь это же целое состояние.

Тяжело ворочаются мысли под бабьим платком.

А Володе уже кажется, что мужик его заподозрил. И именно потому, что он так неосмотрительно, тут же, согласился заплатить за пустяковый переезд десять рублей.

Ни зги не видно. Угомонилась поземка. Немного по-

теплело, и падает ленивый снежок. Володя забился в сено. Мужик накинул на него какое-то драное рядно — теперь бы впору и заснуть, чтобы время промелькнуло. Да вот почему-то уже не спится.

— Табачком не балуешься, студент, а то угостил бы!..

— Не курю. А спички вы берите, берите, теперь они мне ни к чему.

— Тяперича, говоришь. А ранее что ж, курил или как?

Вот ведь привязался. Но и то правда — дорога. А ее скоротать проще всего или во сне, или за беседой.

— ...летось у вас, у косопуzych, был с шурином по извозному делу. Навидались. Наши-то, что тутотки под Москвой, значит, все боле по огородам ударяют, да и на фабрики тянут, а кто и по извозному, как мы. А на Рязанщине хозяйства. Эка! Жгли их летось. Ой, жгли... И мы страху натерпелись аж полные портки. Значит, расчет нам вышел у хозяина, вальяжный барин, до себя не допустил, в сенцы приказчик вышел — и ну слюнявит... И только это мы, значит, шапки натянули, эвон, вваливаются, значит, шабры всем миром. Им, вишь, самого подавай. Вышел. Мы тутотки в сторону, любопытствуем: а энти, глядим, значит, шапки долой, ногу об ногу скребут и что-то там мычат. Я, значит, ухо-то наострил, мать честная, слышу, бородатый такой козел так и чешет. «Так что, — говорит, — уж не взыщите. Много, — говорит, — вами довольные. А только придется поджечь!» Шурин ажно крякнул с натуги. А тут другой, значит, помоложе, поклонился и речь держать. «Как полагается, — говорит, — для порядку... Всех теперь жгут. Вы уж, — говорит, — сделайте милость, без греха чтобы!..» Ну, значит, барин в голос. «Что вы, — грит, — братцы, зачем же жечь, если не за что!..»

А шабры свое, уговаривают, значит, улещают, чтобы указал, чего без греха пожечь можно. Вон какая хреновина, а ты говоришь, спички...

Володя слушал и ушам не верил. Знал, конечно, что жгут. Убивают, развозят помещичье имущество. Но вот такого, жечь «для порядка», чтобы «без греха», — слышать не приходилось.

Да, отстала деревня от рабочих. Только-только раскачивается. И поначалу по-пугачевски берется за топор.

К Люберцам подъехали уже ночью. Володя все же окоченел. Рядно стояло на морозе колом, лошаденка поседела чуть ли не до кончика хвоста. Теперь Володя уже жалел, что не сторговался за ту же десятку ну хотя бы до Перова. Оттуда-то действительно рукой подать.

Озябшее тело просит тепла, в животе урчит голод. А в кармане только мелочь. Но ее должно хватить на стакан чая. Где-то здесь, рядом со станцией, был трактир. Когда Володя подошел к покосившемуся домику с кособокой вывеской, его обогнал какой-то человек. Он резко рванул на себя дверь трактира. На мгновение заискрились инеем знакомые вахмистрские усы...

«Машинист... Как же он меня обскакал?»

Володя переступил порог. И тут же словно выросли из щелястого пола, стали по бокам два солдата.

«Семеновцы!.. В Люберцах!.. Все пропало...»

Володя почувствовал, как сразу взмокла спина.

— Документы!

Володя протянул репортерскую карточку. Солдат повертел ее в руках, по складам прочел: «Ре-пор-тер». И ничего не понял.

Проворные руки ощупали карманы. «Да, хорош бы я был с револьвером», — подумал Володя. Взглянул

на трактирный зал, и снова у него внутри что-то провалилось.

Два здоровенных семеновца держали за руки машиниста. Рядом стоял унтер и разглядывал револьвер, наверное только что извлеченный из кармана задержанного.

— Шаповалов, Никитин, чего возитесь, не видите — студент. Доставьте к капитану!

— Но, господин унтер-офицер, я буду жаловаться и не премину написать в газете, я репортер...

— Репортер! А ну шагом!

Володю и машиниста заставили закинуть за спину руки. Солдаты взяли винтовки наизготовку.

«Куда нас ведут? Ужели конец?..» Володя посмотрел на машиниста. Тот был спокоен. «А ведь у него отобрали оружие! Ему уже не выкрутиться!..»

От трактира до станции было недалеко. В зале ожидания на скамейках под охраной солдат сидело несколько рабочих-железнодорожников. Посредине зала стоял стол. На нем полевой телефон, солдатская манерка. За столом, положив голову на руки, спал капитан.

Солдаты, конвоировавшие Володю и машиниста, не решились будить начальство. Но Володя уже успокоился. Была не была, ведь он репортер, а это публика нахальная и вездесущая. Сейчас самое время закатить скандал «по-репортерски». Но куда девались нужные слова...

— Фамилия?

Капитан спросил, не поднимая головы. Машинист молчал. Капитан не стал повторять вопроса, но оторвал голову от стола.

К офицеру подскочил солдат, протянул револьвер и пальцем указал на машиниста. Капитан зачем-то за-

глянул в дуло, потом бросил револьвер в ящик, устало потянулся.

— Господин капитан...

— Молчать! Будете отвечать на мои вопросы!

Капитан вытащил из стола кипу бумаг. Володя понял, что это какие-то списки. И против многих фамилий приколоты фотографии.

Медленно, как-то нехотя капитан вглядывался в изображения, потом откидывался на стуле, присматривался то к Володе, то к машинисту, опять скользил глазами по списку. Он отложил уже в сторону изрядную стопку просмотренных листов. Машинист, казалось, не обращал на офицера никакого внимания. Равнодушно, без всякого интереса, разглядывал он грязный полутемный зал ожидания, рабочих и попа.

Володя сразу и не заметил, что в зале сидит поп. Зачем он здесь? Тоже задержан? Нет, не похоже. Батюшка тянул чай из здоровенной фаянсовой кружки. Ему было жарко. Вспотевшая грива свисала мелкими слипшимися косичками, на лбу набухли крупные капли пота, которые поп смахивал волосатой ручищей.

— Вы машинист Алексей Владимирович Ухтомский?

Володя вздрогнул. Он забыл о капитане. А тот уже стоял, и в руках у него была фотография.

— Вы будете расстреляны!

Володя понял, что офицер обращается к соседу.

— Я знал... — спокойно, не повышая голос, ответил машинист.

«Ухтомский! Ухтомский!» Володя весь напрягся. Он должен запомнить эту фамилию. И если останется жив, расскажет о машинисте, о том, как тот спас московских дружинников и членов стачечного комитета. Если останется жив...

— Господин репортер. — Капитан рассматривал Володино удостоверение. — Я должен задержать вас для выяснения личности. Сейчас уже поздно, а завтра в Москве полиция все и прояснит. Если вы действительно репортер, то сегодня вам будет много работы. Пожалуйста, я мешать не буду. Мы заинтересованы в том, чтобы верноподданные его величества знали, какая кара ожидает всякого поднявшего руку на трон.

Офицер говорил, с трудом подбирая слова. И говорил с тайной надеждой, что этот вот молодой человек действительно окажется репортером, и тогда, как знать, быть может, не дела, а вот эта фраза поможет сделать ему, пока никому не известному капитану, блестящую карьеру.

Ухтомский посмотрел на Володю. Они встретились взглядами, и Володе показалось, что машинист узнал его.

Конечно, узнал — хорошая, добрая улыбка раздвинула вахмистрские усы.

Между тем капитан подозвал священника, они о чем-то пошептались. Священник вытащил из кармана крест, стряхнул с рясы хлебные крошки. Капитан предложил Ухтомскому исповедоваться. К удивлению Володи, Ухтомский не отказался. А может быть, и машинист принимает его за репортера? Или правда никому не хочется умирать в неизвестности? Хотя если Ухтомский не поверил в то, что Володя репортер, то, значит, узнал в нем своего, боевика. И теперь он спокоен — свой товарищ расскажет о его последнем часе.

Володю знобило от возбуждения и страха. Он никогда не присутствовал на исповедях смертников. И не знал, как помочь машинисту. Требовать следствия, суда? Но это смешно. Сейчас в Москве полковник Мин так же, вот, без суда и следствия, убивает тысячи рабо-

чих. В Москве полковник, в Люберцах — капитан. Всякому чину свой шесток.

Священник ждал исповеди. Ухтомский рассказывал биографию. Из мещан Новгородской губернии... Нет еще и тридцати. А в Пензе дом, жена, дети... Машинист замолчал. Задумался.

В зале никто не проронил ни слова. Все ждали.

Но машинист молчал. Исповеди не получалось. Капитан понял это первым. Засуетился, натянул шинель.

— Господин репортер, пожалуйста с нами. И не вздумайте бежать.

У Володи подкосились ноги. Ужели вот так, сию минуту, машиниста выведут в ночь и где-то здесь, за углом, расстреляют? А Володя должен будет стоять и смотреть. И не иметь сил напасть на палачей.

Нет, он сейчас скажет этому капитанишке, что большевики не оставляют товарищей в беде. Он встанет рядом с Ухтомским. И пусть никто не узнает, как они умерли...

Машинист догадался, о чем думает Володя. Посмотрел на него сурово, словно приказал жить.

И Володя понял — Ухтомский сделал свое дело. Он спас сотни боевиков. А Володя? Его ждет Иннокентий. Его ждут истекающие кровью дружинники Пресни. И пусть он не привез им подмоги. Зато им будет ясно, что нужно на время покинуть баррикады. Нужно сохранить людей. Выждать. Где он это читал, у Горького, кажется, что пламя должно прикрываться дымом, чтобы потом возгореться вновь с невиданной силой. Господи, такая минута, а он ищет цитаты...

Солдаты вывели машиниста и еще троих рабочих. Капитан подтолкнул Володю. Его забавлял вид этого растерявшегося, бледного репортеришки. «Шпак! Ни-

чего, авось такая наука пойдет ему на пользу. Меньше кричать будет».

Капитан поравнялся с идущим впереди Ухтомским. И вдруг машинист заговорил. Володя пропустил первые слова.

— ...я спокойно чувствую себя. Я ежеминутно был готов к смерти. Теперь, перед смертью, я скажу вам, кому вы обязаны, что поезд с дружинниками благополучно ушел из Москвы, спасая главных участников и руководителей боевой дружины, членов стачечного комитета...

Зачем он это все говорит палачу? Нет, Ухтомский говорит для товарищей, для Володи.

— Около Сортировочной, на огородах, вы угрожали мне пулеметами. Но нам грозила опасность не от пулеметов, а от возможности взлететь на воздух... Вы ранили тогда шесть человек, но ни одного не убили. Все спаслись и находятся далеко... Вам не достать их!

— Стой! — Капитан в ярости никак не может вытащить из кобуры наган.

— Завязывай!..

Три солдата проворно завязали глаза рабочим. Ухтомский отказался от повязки. И не повернулся спиной.

Спокойно, без надрыва, не повышая голоса, обратился к солдатам:

— Сейчас вам предстоит исполнить долг согласно вашей присяге. Исполняйте его честно, как я исполнил честно долг перед своей присягой. Но наши присяги разные. Капитан, командуйте!

Володя закрыл глаза. Сейчас... сейчас...

— Пли!..

Володя инстинктивно оторвал руки от лица, зажал пальцами уши.

Рабочие упали.

Ухтомский стоял. И это было невероятно, это было непостижимо и очень страшно.

Солдаты смотрели в землю. Капитан съежился.

— Пли, мерзавцы!

Ухтомский медленно опустился на землю. Он был еще жив. И с трудом сдерживал стон.

Солдаты отвернулись. Капитан понял, что они не выполняют его следующую команду.

Почти не целясь, он разрядил весь барабан нагана. Но Володя ничего этого не видел.

Обратно на станцию его тащили по снегу. И бросили, как пустой куль, на голый пол там, где стояла плевательница.

Володя очнулся от грубого пинка сапогом. В ушах еще грохот второго залпа. Он не знает, как снова очутился в зале ожидания.

Солдат предлагает встать и следовать за ним. Но куда? Ах да, капитан обещал отправить Володю в Москву, с тем чтобы полиция установила личность репортера. И она установит. А потом дула винтовок... И снова в ушах грохочет залп.

Володя окончательно пришел в себя. Не было ни страха, ни сомнений. Он должен бежать. Сейчас, по дороге, или даже в самой Москве — неважно. Важно убежать до того, как его передадут полиции.

У Володи не было опыта побегов. Но недаром же он прошел такую превосходную школу конспирации, как работа на транспорте литературы. Теперь-то он понимает, почему старшие и более опытные товарищи заставляли его изучать азбуку подполья. В нелегальной

революционной работе часто повторяются сходные ситуации. Поэтому-то опыт борьбы, накопленный, предположим, старыми народовольцами, может пригодиться большевикам. А Иннокентий подробно, интересно рассказывал о всевозможных побегах из тюрем, с этапов, каторг, хотя ему самому еще не выпало бегать.

Значит, нужно вспомнить эти рассказы. Нужно отобрать сходные случаи. Но прежде всего успокоиться. И по порядку, не спеша...

Побеги из тюрем... Отпадают. Из тюрьмы можно убежать только с помощью товарищей и, во всяком случае, под покровом ночи. Днем убежал, кажется, только Петр Кропоткин. Но его ожидал призовой рысак Варвар, ему помогали вооруженные друзья.

— Выходи!

Окрик был неожиданный, грубый.

Пришлось подчиниться, выйти на перрон.

У платформы люберецкого вокзала стоял состав. Классные вагоны перемежались с теплушками. В теплушках солдаты. Около классных застыла охрана. Платформа тоже оцеплена. Солдаты подталкивают в тамбур самую разношерстную публику. Заячьи треухи и каракулевые шапки, платки, фуражки. Дошла очередь и до московских пригородов. Их очищают от «неблагонадежного элемента». Тех же, кто попался с оружием, расстреливают на месте.

Конвоир после грубого окрика пытается быть вежливым. Видно, капитан дал ему нагоняй, все же не уверен в том, что Володя репортер-самозванец, и побаивается неприятностей с прессой.

В классном вагоне, куда посадили Володю, всего несколько человек — чиновники не чиновники, а может,

учителя или землемеры — не поймешь. Сидят по своим купе. И похоже, не очень-то волнуются.

Но он отвлекся, а времени в обрез. И снова Володя листает страницы памяти. Теперь ясно — он должен убежать в ближайшие полчаса, и убежать из этого вагона. В Москве улизнуть не удастся. Не даст охрана. Значит, убежать из поезда? И на ходу? Наверное, так и бегали. Не может быть, чтобы никто не убегал.

И вдруг вспомнил — Софья Перовская. Она убежала из поезда. Ее конвоиры уснули. И она, вытащив ключи от купе из кармана жандарма, слезла на остановке. А может быть, и не из вагона? Забыл. Да, кажется, это было на станции.

Не подходит. Его конвоир сидит напротив. И остановок не будет. До Москвы и езды-то в лучшем случае минут тридцать-сорок.

Значит, только на ходу. Площадки охраняют солдаты. Поезд уже тронулся, солдаты заперли двери, но в вагон не прошли. Плохо! Ужели нет иного способа?

Нет, есть, есть Франжоли. Да, Франжоли, друг Желябова и Перовской, народоволец. О его фантастическом побеге из поезда ходили легенды. Что ж, у Володи должно хватить решимости повторить легенду.

За окнами тянутся бесконечные белые поля. До самой Москвы на этой дороге, пожалуй, нет ни одного приличного леска, только рощицы, да и те вдали от путей.

Ну вот и пришла эта минута. Он должен решиться. Скоро пойдут мосты, за ними пригороды.

Володя посмотрел на конвоира — на погонах какие-то лычки, а Володя в них не разбирается. Но солдатом этого усатого дядю именовать нельзя, чего доброго, обидится.

— Господин унтер, мне нужно зайти в туалет. Немного, знаете...

Унтер ухмыльнулся. Знаем, мол, медвежья болезнь со страха.

В коридоре пусто. Володя вошел в туалет. Унтер остался сторожить у двери.

Теперь все решают секунды.

Володя вскочил на унитаз. Какое счастье — в туалете не вставили вторых, зимних рам.

Но окно не поддается. Прихватило морозом или забито — разглядывать нет времени.

Володя спиной наваливается на стекло. Как оно пронзительно звенит! В раме остались осколки. Несколько ударов кулаком — чисто.

Володя слышит — его стражник уже бьет сапогами в дверь...

Тупой удар...

Искры из глаз. Невыносимая боль в левой ноге.

Забот с этим фруктовым магазином больше, чем с солидной типографией. И они свалились на голову Соколова буквально на следующий день после того, как Черт был «уступлен по сходной цене» московским боевикам. Мирону кажется, что, если бы Богомолов оставался на своем посту, все шло бы иначе. А вот Елена, его собственная жена, ну какой она руководитель такого беспокойного хозяйства!

Впрочем, он, конечно, пристрастен. Ему не хватает жены — незаменимой помощницы во всех этих нелегких, запутанных конспиративных и неконспиративных работах. Но Лену трогать нельзя. Разве что помогать ей.

Эта помощь иногда бывает более чем своеобразной.

На днях сидит дома, а дело было уже под вечер, на-счет чая кумекает и тревожится, что жена где-то за-пропастилась. Бац — дверь нараспашку. Елена вры-вается в кухню и чуть не плачет. В чем дело? Не от-вечает, боится — слезы льются.

Помог раздеться, отпоил чаем. Отошла немного, рассказала.

Отпечатали в «магазине» очередной тираж газеты с важными директивами центра. Нужно разослать. Как обычно, партию упаковали — и в контору для отправки.

А там после декабрьских событий полная неразбе-риха. Чиновники своим глазам не доверяют, готовы разламывать и ящики с мануфактурой, и бочки с капу-стой. Потребовали, чтобы Елена вскрыла груз, видите ли, времена ненадежные... Ну, а как вскроешь?

— Не могу без разрешения владельца, — отгово-рилась Елена.

Ну и растерялась, конечно. Вместо того чтобы груз забрать обратно, согласилась оставить на складе до завтра. Де, мол, завтра она узнает ответ владельца. Пока добиралась до дома, поняла, что глупость сотво-рила. И теперь не знает, как этот груз вызволить.

Что ж, в этой ситуации опыт Черта может очень пригодиться. Решили, что назавтра Елена отправится на склад со своим извозчиком, а Мирону с Голубковым и Сандро придется вооружиться и подежурить около. В случае чего изолировать склад и изъять груз силой.

Слава богу, тогда все обошлось. На следующий день в конторе дежурил другой приемщик, груз у него подозрений не вызвал и пошел по назначению.

Но если все грузы из «магазина» будут доставлять столько «веселых минут», то сил хватит ненадолго.

С другой же стороны, магазин сам себя изживет. Весна нового, 1906 года как будто сулит кое-какие легальные возможности для партийной печати. Как ни мизерны эти возможности, они все же неизмеримо больше тех, которыми располагает «кавказский магазин».

Это понимает не только Мирон. Соколов все еще не уверен в том, что подпольную печатню надо свернуть или, во всяком случае, держать про запас, а Сандро в этом уверен. И он на свой риск и страх организует летучие печатни.

Соколову пришлось однажды участвовать в «деле».

В Москве ранняя весна. Днем солнце напоминает о грядущем лете. Правда, в сумерки чувствуется, что зима еще где-то рядом и пока не залегла на летнюю спячку.

Скоро на московских предприятиях, в конторах окончится рабочий день. Конечно, это у тех, кто работает. Многие заводы продолжают бастовать. Зато чиновники усердствуют, штаны протирают из верноподданнических чувств.

Частная типография Смирнова стучит круглосуточно. Одна смена встречает другую. Наборщики ходят хмурые, но работают. И ждут удобного случая, чтобы повторить прошлый, 1905-й.

Сандро останавливается у проходной, делает предостерегающий жест рукой. Последний рабочий утренней смены спешит покинуть типографию. Ночная подойдет через несколько минут.

Сандро направляется в проходную. Усатый вахтер, видно из отставных унтеров, неохотно поднимает голову от кружки с чаем. Увидев незнакомого человека, то-

ропливо встает и, смешно растопырив руки, загораживает узкий проход.

И тут же поднимает руки вверх. Сандро запирает вахтера в каморке под лестницей. Из типографии выходит пожилой наборщик. Здоровается с Сандро и занимает место в проходной.

«Ловко», — успел подумать Мирон и собрался уже уходить, ему не следовало ввязываться в «историю». Да и, судя по всему, у Сандро все рассчитано, и это не первый налет на частную типографию.

Шум у проходной заставил его обернуться.

Несколько рабочих бросились в контору. Остальные торопливо прошли в печатный цех.

На следующий день Сандро рассказал Соколову о том, как истошно завывал в своем кабинете привязанный к стулу, хозяин. Он так и не догадался сначала воспользоваться телефоном, когда же ввалились наборщики, было уже поздно.

Работали всю ночь, зато выдали на-гора столько, сколько «магазин» и за месяц не отстукивал.

Елена, Василий Егорович, Сандро — в один голос заявляют, что с «магазином» пора кончать. Не совсем, конечно, держать на всякий случай. Но машину припрятать, а лавочку закрыть. Мирон прикидывал и так и сяк — денег на закупку товаров нет, работает типография вполсилы, пока большевики обходятся и легальными.

И Соколов решился.

Двинул к московскому представителю ЦК. От него все зависело. Он должен сказать последнее слово. Мирон приготовился держать долгую речь, убеждать, доказывать.

По дороге в Пименовский переулок, где под личиной

фельдшера Сухорученко жил представитель, Мирон так задумался, что пришел в себя только тогда, когда больно ударился о каменную тумбу, огораживавшую тротуар. Потирая ушибленное место и оглядываясь, он вдруг заметил, что на дворе уже май. И утро светлое, чистое, напоенное свежестью весны.

Май 1906 года. Более года длится революция. Если и не удалось вооруженное восстание, если снова пришлось уйти в подполье наиболее активным борцам, то это еще не означает поражения.

Весна донесла вместе с запахами пробуждающейся земли и гневный рокот пробудившихся земледельцев. Поднималась крестьянская Русь.

Нет, нельзя забиваться в норы, отгородиться от поверхности, прекратить легальную работу, как этого требуют малoverы. Подполье не уйдет. Нужно только сохранить типографию и явки, связи, транспортные пути. Сохранить на случай отступления.

Сухорученко только восстал ото сна. И просто смешно вести серьезный разговор, когда собеседник никак не может найти рубашку, скачет на одной ноге, надевая брюки.

— Ну куда же, каналья, задевалась эта рубаха?

К великому своему конфузу, Мирон обнаружил, что преспокойно сидит на ней. И надо разводить утюг. А утюга, конечно, нет, нужно кланчить у соседей. Ладно, и так сойдет.

Стук в дверь.

— Глянь-ка, кто там...

Но Мирон не успел дойти до двери — она раскрылась, пропустив в комнату невысокого плотного человека. Вид у него живописный — поддевка с оборками, приказчиий картуз с суконным козырьком, подбородок

чисто выбрит, рыжие охотнорядские усы лихо закручены кверху и придают лицу пришельца какой-то задорный вид. И глаза со смешинкой.

— Долго спите, батенька!

Сухорученко, хитро сощурившись, критически осматривает нового гостя. Мирону даже показалось, что он сделал движение, словно хотел поправить картуз. И Мирон понял — приказчик свой, просто конспирирует. И, надо заметить, удачно. Придаться не к чему, вот только голос и еще картавость.

Сухорученко меж тем заторопился. Предлагает перенести разговор о типографии на другое время.

— Продолжайте, продолжайте, я не буду мешать.

— Мы о типографии на Лесной. Вот Мирон хочет ее прикончить...

— Не прикончить, а временно свернуть и схоронить.

Приказчик живо интересуется состоянием дел в «кавказском магазине».

И Соколов понимает — собеседник прекрасно осведомлен обо всем. И его заботит не то, что типография будет закрыта, а то, как сохранить все это хозяйство на всякий случай.

— Есть арендованный торговый склад...

— А квартира? Ведь ей цены нет.

И о квартире знает. Теперь уже Мирон адресует свои доводы к этому человеку с рыжими усами.

— Надо поселить в квартире кого-либо из своих, открыть мастерскую, что ли. Все дешевле, чем магазин.

— Что ж, это почти хорошо. Но надо помнить, только пока!

Гость встает, снимает картуз, протягивает руку.

— Я пошел, вы не опаздывайте!

Надевает картуз и уходит. А Мирон стоит с раскры-

тым ртом. Сухорученко хохочет. Он понимает, что Соколов заметил огромную пролысину гостя, когда тот снимал картуз. А она так не подходит к молодому лицу и заливчатским рыжим усам.

Но Соколов уже вновь собран, деловит.

— Как же все-таки решим?

— А чего решать, когда все уже решено.

И нужно работать.

Потом еще будут аресты. «Бутырки». Сибирский этап.

Будет и Октябрь.

Потом Мирон напишет чудесную книгу воспоминаний.

Но это потом. А пока первая русская революция 1905—1907 годов продолжается.

Прокофьев Вадим Александрович

КОГДА ЗАЦВЕТАЮТ ПОДСНЕЖНИКИ. Док-
кум. повесть. М., «Молодая гвардия», 1971.
192 с. («Честь. Отвага. Мужество».)

р2

Редактор *С. Михайлова*

Оформление художника *Н. Михайлова*

Художественный редактор *Б. Федотов*

Технический редактор *Ю. Бойко*

Корректоры *К. Пипикова, Г. Василева*

Подписано к печати с матриц 26/III 1971 г.
A01167. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага № 3. Печ. л. 6
(усл. 8,4). Уч.-изд. л. 7,6. Тираж 100 000 экз.
Цена 24 коп. Т. П. 1970 г., № 212. Заказ 799.

Типография издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая
гвардия». Москва, А-30, Сущевская, 21.

24 коп.

Вадим Александрович Прокофьев родился в 1920 году. Окончил исторический факультет Московского государственного университета, а затем аспирантуру. Семнадцать лет преподавал историю нашей страны в высших учебных заведениях. Участник Великой Отечественной войны.

В 1958 году в серии «Жизнь замечательных людей» вышла его первая научно-художественная книга, «Степан Халтурин». В последующие годы в этой же серии были изданы книги «Желябов», «Петрашевский», «Дубровинский», биографические повести «Михаил Михайлов» и «Михаил Тухачевский».

Вадим Прокофьев — автор книги очерков по истории рабочего класса России «Героическая биография». В соавторстве им написана повесть о жизни Л. Б. Красина («Три жизни Красина»).

В серии «Честь. Отвага. Мужество» В. Прокофьев выступает впервые.